BA BOOK

АННА БЕРСЕНЕВА

КРИСТАЛЛ АВРОРЫ

Анна Берсенева

КРИСТАЛЛ АВРОРЫ

Роман

Трилогия «Сады Сокола»

Книга вторая

Что делать человеку, если лучшее время его жизни совпало со временем краха всех иллюзий в обществе? Об этом думает в двадцатые годы XXI века Нэла Гербольд — умная, образованная, выросшая в поселке Сокол, гнезде московской интеллигенции. Она вдруг сознает, что ее жизнь рушится не только в связи с личными обстоятельствами, как это ей казалось. Ровно сто лет назад, в разгар нэпа, инженер Леонид Гербольд, прадед Нэлы, построил в Соколе дом в надежде на счастливое будущее, но человеконенавистнический «великий перелом» уничтожил его счастье. И вот век спустя Нэла Гербольд стоит на пороге нового перелома времени.

Анна Берсенева (Татьяна Александровна Сотникова). Кристалл Авроры. Роман. Трилогия «Сады Сокола» Книга вторая. 2025 г.

© Анна Берсенева, 2025

© BAbook, 2025

Содержание

ЧАСТЬ I

Глава 1 6
Глава 2 21
Глава 3 37
Глава 4 64
Глава 5 102
Глава 6 112
Глава 7 127
Глава 8 138
Глава 9 158
Глава 10 174
Глава 11 189
Глава 12 201
Глава 13 223
Глава 14 241
Глава 15 259
Глава 16 272

ЧАСТЬ II

Глава 1 285
Глава 2 292
Глава 3 305
Глава 4 313
Глава 5 328
Глава 6 346
Глава 7 354
Глава 8 371
Глава 9 389
Глава 10 404
Глава 11 418
Глава 12 436
Глава 13 456
Глава 14 467
Глава 15 480
Глава 16 490
Глава 17 498
Глава 18 512

ЧАСТЬ I

Глава 1

«Ну и вид у меня… Картина Эль Греко!»

Собственное лицо — осунувшееся, с устало поблескивающими длинными глазами — так смутило Нэлу, что она вглядывалась в него до тех пор, пока девчонка с розовыми волосами довольно бесцеремонно не отодвинула ее от зеркала, и, вздрогнув от этого, она не вспомнила, что туалет берлинского аэропорта не лучшее место для созерцательных размышлений.

Многие ругали аэропорт Тегель, а Нэла его любила. По той же причине, по какой любила и Берлин — потому что все живое и необычное так или иначе оказывалось здесь хотя бы ненадолго. И потому что это был город ее молодости.

К молодости своей она сюда и приезжала, собственно; дружба с Марион была главным, что осталось от студенческих лет.

В приглашении, которое Нэла получила еще зимой, было сказано, что если друзья окажутся в Берлине в июне, то Марион и Пауль будут рады видеть их на своей свадьбе, что праздновать будут у озера Ванзее, гости могут снять номер рядом в отеле за собственный счет, а если кто-то хочет сделать подарок молодоженам, то пусть переведет деньги благотворительному фонду, помогающему интеграции беженцев. Нэла улыбнулась, прочитав этот текст; вся Марион с ее сердечностью и прагматизмом была в нем. Она ответила, что приедет обязательно, перевела беженцам сумму, равную стоимости чайного сервиза, а номер бронировать не стала: дорого выходило у озера, обошлась съемной комнатой неподалеку от Александерплац.

Приехав в Берлин, она тем же вечером пошла к Шпрее, долго сидела на парапете, глядя на рябь городских огней, скользящих по поверхности воды, на темные стремительные струи в глубине, и думала, важные или неважные вещи происходили с нею вот здесь, у этой самой реки, на этом самом месте.

Гостей оказалось человек двести. Их количество сильно удивило Нэлу: ироничность была присуща Марион в высшей степени, а между тем устройство такой свадьбы явно требовало не только не иронического, но даже слишком серьезного подхода к делу. То есть Марион, конечно, умела подходить к делам серьезно, и это еще мало сказать умела, но Нэла полагала, что свадебное торжество не относится в глазах ее подруги к числу таких дел. Но вот ошиблась, значит, хотя и была уверена, что разбирается в тонкостях немецкой жизни. В общем, она очень удивилась, увидев накрытые белоснежными скатертями длинные столы, сияющие мельхиоровые приборы, цветочные гирлянды, украшающие веранду ресторана, и струнный ансамбль на лужайке.

Жених с невестой после венчания приехали из церкви на велосипедах, Марион прихрамывала — оказалось, месяц назад лопнуло ахиллесово сухожилие, когда она играла в теннис, — лицо у нее светилось любопытством, которое Нэла так любила в

ней и все любили, платье цвета синьки с молоком шло к ее глазам, и выглядела она в нем молодо без малейшего старания казаться моложе.

И весь праздник получился такой какой-то трепетный и человечный — со сменяющимися мелодиями скрипок и виолончелей, с солнечными пятнами на траве под старыми липами, с серебрящимся озером, со старинным отелем, над башенками которого графически кружились птицы, и с далеко разносящимся вечерним колокольным звоном, — что Нэла чуть не заплакала, хотя сентиментальность была последним качеством, которое она могла в себе предполагать.

— Ты ведь еще не уезжаешь завтра и придешь к нам вечером? — спросила Марион, когда, натанцевавшись и наговорившись, гости начали разъезжаться. — Ах, Нэла, мы так давно не виделись с тобой!

— Сама удивляюсь, как это вышло, что мы так долго не виделись, — ответила она. — Конечно, приду.

Марион с Паулем жили в Моабите. Они встретили Нэлу у метро и по дороге к своему дому — шли через старинный рынок под сводами, к вечеру уже почти пустой, — рассказывали, как два года назад долго искали квартиру, которая понравилась бы им обоим сразу, безоговорочно, и вот эта оказалась именно такая, и они ее сразу же сняли.

Дом был похож на тот, в котором Нэла с Марион снимали квартиру, когда учились в университете — многоэтажный, со внутренним двором-колодцем, со светлыми просторными подъездами и длинными лестничными пролетами. Если бы Нэлу попросили показать типичный дом старого Берлина, она отвела бы интересующихся прямо сюда.

— Ты, получается, и на улицу не выходила, пока у тебя нога в гипсе была? — спросила она, когда поднимались на пятый этаж; лифта в доме не было. — Фу-ух, даже я устала, так высоко!

— Но как я могла не выходить? — пожала плечами Марион. — Я ведь работала. Правда, от поез-

док в Бонн на некоторое время пришлось отказаться, но здесь, в Берлине, я все делала как обычно.

— На одной ножке, что ли, вниз прыгала?

— Ну да. А Пауль нес за мной табуретку, и я отдыхала на каждой второй площадке. А когда вверх, то просто на каждой, — с обычной своей обстоятельностью объяснила Марион.

— Ты феноменальная! — засмеялась Нэла. — Я вот даже не представляю, что могло бы меня заставить прыгать на одной ножке с пятого этажа.

— Вот именно что не представляешь, — улыбнулась Марион. — Когда у тебя появится что-нибудь такое, ты запрыгаешь даже с десятого, я уверена.

«Что-нибудь такое» для Марион это, понятно, работа, и всегда так было. Еще в студенческие годы Нэла поражалась ее работоспособности, ей самой такая и не снилась, да что ей — таких, как Марион, она даже среди немцев не знала, или, может, они учились не истории искусств.

При первом же взгляде на квартиру становилось понятно, почему она могла понравиться сразу и безоговорочно: неординарность чувствовалась в самих ее очертаниях. Все комнаты соединены между собой странным, но удобным образом, просторно, и потолки такие высокие, что кажется, вверху стоит светлая дымка, как под куполом собора, а множество светлых же книжных полок усиливают впечатление осмысленного и одухотворенного пространства.

Стол был накрыт на балконе.

— Ты цветы выращиваешь? — удивилась, выйдя туда, Нэла. — Когда успеваешь только!

Длинные горшки с летними цветами — синими, белыми, алыми, желтыми — окаймляли весь широкий балкон, а в отдельных больших вазонах росли фиолетовая гортензия и японский клен.

— Я вырастила гортензию и клен, — объяснила Марион. — Но в общем-то они растут сами, мне приходится вносить удобрения и на зиму убирать их с

балкона в подъезд. Остальные цветы я просто покупаю каждую весну заново и сажаю в эти горшки. А потом только поливаю все лето. Или Пауль поливает, когда меня нет.

Марион руководила фондом, который занимался развитием прессы Германии и отчасти даже всей Европы; она объясняла подробно, но Нэла не очень поняла. Зато поняла, что, когда снесли Берлинскую стену, половина этого фонда переехала в новую столицу, а половина осталась в старой, и поэтому Марион с понедельника до среды работает в Берлине, а с утра четверга до вечера пятницы — в Бонне, что в среду после работы она летит туда самолетом, а потом самолетом же возвращается в Берлин на выходные, чтобы утром в понедельник начать здесь очередную свою рабочую неделю.

Как Пауль относится к такому ее рабочему графику, можно было не спрашивать: раз живут вместе уже два года и решили пожениться, значит, его все устраивает. Но вот как женщина сорока лет может вести такую жизнь постоянно, не понимала даже

легкая на подъем Нэла. Впрочем, она понимала, что в Марион очень не напоказ и очень естественно соединяются такие черты характера и линии поведения, которые многим кажутся несоединимыми, а самой Марион — вполне органичными. Среди этих черт Нэла давно уже научилась отличать те, которые присущи именно ее выдающейся подруге, от тех, которые вообще естественны для европейцев. Скептичность в отношении любых взглядов и приимчивость в восприятии любого образа жизни, даже самого странного, отсутствие догм и наличие принципов, религиозность и насмешливость с трудом совмещались в стороннем сознании. А между тем в Марион все это соединялось самым ясным образом, и такое сочетание не было ее личным, а как раз и было Европой, которую Нэла любила, в которой чувствовала себя как рыба в воде, но не как дерево в лесу.

После ужина Пауль ушел к себе в кабинет — он преподавал оптическую физику в Университете Гумбольдта и готовил новый лекционный курс, — оставив жену с подругой предаваться воспоминаниям.

Балкон выходил во двор, в котором росли старые липы, их запах был таким сильным, каким он бывает только в июньском Берлине, и лишь запах росшей на балконе ночной фиалки стал сильнее его, когда сгустились сумерки.

— Ты надолго едешь в Москву? — спросила Марион. — Как ты думаешь, что там происходит?

Второй вопрос позволял не отвечать на первый, и это было хорошо, потому что ответа на первый вопрос Нэла не знала. На второй, впрочем, тоже, но второй и не был для нее личным и значимым.

— Заморозки происходят. — Она пожала плечами. — Как при Николае Первом.

— Я не так хорошо знаю русскую историю, — заметила Марион. — Что было при Николае Первом? Но все это так странно! Мне казалось, после того, что ваши люди узнали о репрессиях, и ведь они сами жили в советские годы так тяжело — эти страшные расстрелы невиновных, запреты всего, эти очереди, недостаток лекарств, просто еды… Я думала, они отшатнутся от этого навсегда. И вот теперь кажется,

что все возвращается снова, а они только радуются. Как это может быть?

— Ну, сами-то они при репрессиях не жили, — усмехнулась Нэла. — А про очереди уже не помнят. Они считают, тогда все было как сейчас, только бесплатно и всем поровну.

— Я не верю, что взрослые люди могут так считать, — покачала головой Марион. — Ведь у них есть логика и память.

— А кто тебе сказал, что они взрослые? Инфантильность пожизненная. А логика и память, как у аквариумных рыбок.

— Но ведь ты сама не такая.

— Но большинство таких.

— Но откуда ты знаешь?

Когда Марион хотела что-то прояснить для себя, от нее было не отделаться.

— Ну, откуда! — вздохнула Нэла. — Что-то чувствую, что-то… Просто знаю, и всё.

Она вспомнила, как прошлой зимой оформляла в Москве доверенность для мамы на всяческие дей-

ствия от своего имени, и нотариус, молодая элегантная женщина с такой стрижкой, каких Нэла и в Париже не видела, сказала, бросив взгляд в заиндевевшее окно:

— Какая зима в этом году холодная! Потому что американцы климатическое оружие изобрели и специально с Аляски погоду нам портят.

И вот попробуй объясни, что в этой стильно подстриженной головке творится. Да и зачем это объяснять? Просто прими к сведению и держись подальше.

— Мне очень грустно, Нэла. — В голосе Марион действительно послышалась грусть; в ней вообще не было ни капли неискренности, и она не понимала даже, зачем неискренность может быть нужна человеку. — У нас было много контактов с Россией, я часто бывала в Москве, ездила по всей стране, появились друзья… А теперь нам отказывают в совместных проектах, а в регионах нас даже боятся, как будто мы враги. Как это могло случиться, почему? Я

успела всё у вас полюбить… Главное, так много талантливых людей! Почему же всё… так?

— Не знаю, — улыбнулась Нэла.

«Я и почему у меня всё так не знаю, — подумала она при этом. — Что уж мне про других думать».

— Мне очень, очень грустно, — повторила Марион. — Зачем ты говоришь, что это аквариумные рыбки? Я мало где встречала таких образованных, таких креативных людей, как в России, с таким быстрым и ярким умом. И не только в Москве — это вся страна очень талантливых людей. Ты сама знаешь, какое у вас искусство.

— Достоевский и Чайковский уже умерли. Причем давно.

— Но есть и сейчас!.. Я слушала оперу в Новосибирске, это мировой уровень.

— То-то директора оттуда выгнали вместе с режиссером.

— Это и есть то, чего я не понимаю, — вздохнула Марион. — Как могли их уволить, почему?

— Христа на афише авангардно нарисовали, вот и уволили.

— Ты меня троллишь?

— Будем считать, что да. — Нэла снова улыбнулась. — Маришка, я не хочу больше об этом думать. У меня одна жизнь, и я не могу ее посвящать размышлениям о том, что и почему делают ущербные люди.

Она разлила по бокалам оставшееся вино — рейнвейн, который Марион привезла из Бонна к своей свадьбе.

— Я видела твой альбом о виллах Палладио, — сказала Марион. — И знаешь, когда его читала, то жалела, что не пишу об искусстве.

Альбом о палладианских виллах был несложной, приятной и отлично оплаченной работой. Оплачено было также путешествие по окрестностям Падуи и Вероны, где эти виллы в основном располагались, и по Бренте, вдоль берегов которой Палладио тоже немало их построил. Текст Нэла писала в городке Аркуа и каждый вечер, гуляя после работы по тихим улицам и холмистым окрестностям, приходила на могилу Петрарки, смотрела на его выбитый

на камне портрет, смешную голову в каком-то платочке, и в голове ее звенели его строки, но почему-то не по-итальянски, а по-русски, да еще в переводе Мандельштама, который их почти что сам выдумал: «Чую, горю, рвусь, плачу — и не слышит, в неудержимой близости все та же…»

Нэла знала, что сделала свою работу хорошо, но при том прекрасно понимала: в ней нет ничего, что должно заставлять такого состоявшегося человека, как Марион, жалеть, что эту работу сделала не она.

Вся Нэлина жизнь состояла из таких вот случайных работ, и не только из работ — ее жизнь в целом давно уже представляла собою произвольное смешение случайностей.

Воплощенная случайность и смотрела на нее теперь из зеркала в берлинском аэропорту, она сообщила ее чертам резкость Эль Греко и заставила устало мерцать глаза.

Надо что-то делать со своей жизнью, только сейчас она это поняла. Но чувствовала, наверное, и раньше, иначе не ответила бы на письмо Антона и не летела бы этим июньским днем в Москву.

Глава 2

В Берлине стоял запах цветущих лип, а в Москве — жасмина.

То есть не по всей Москве, а на Соколе. Такси свернуло на улицу Сурикова, Нэла опустила оконное стекло, и этот запах влился в нее, во все ее молекулы, и когда она шла к калитке родительского дома, он усиливался с каждым ее шагом.

Жасминовые кусты росли, правда, не у родителей, а у соседей, у Левертовых. После смерти Евгении Вениаминовны левертовский сад зарос репейником и лопухами и жасминовые кусты в нем засохли; заглядывая в свои редкие приезды за соседский забор, Нэла каждый раз вспоминала библейскую мерзость запустения. Но потом в левертовский дом вернулась Таня и привела все в порядок за первую же весну — летом жасмин уже цвел в саду снова. Нэла всегда считала, что Таня Алифанова — типичное явление разума, притом именно женского разума, созидающего и практичного. Только вот та-

ких типичных женщин почему-то было мало, а вернее сказать, и вовсе не было. Во всяком случае, Нэла таких, кроме Тани да покойной Евгении Вениаминовны, не встречала.

Она успела подумать об этом, идя через двор к родительскому дому. В прошлом году его отремонтировали, но выглядел он после этого так же, как выглядел всю Нэлину жизнь, и не только Нэлину — точно таким дом был на фотографиях 1927 года, которые висели у Гербольдов в гостиной: высокий русский терем, сложенный из огромных бревен, только Ивана Царевича на Сером Волке не хватает да Царевны Несмеяны в окошке.

Дома никого не было, Нэла открыла дверь своим ключом. В ее сознании не находилось слов, которые правильно обозначали бы то, что происходило с нею каждый раз, когда она входила сюда. Это не было ни счастьем, ни покоем, ни унынием, ни восторгом — просто она становилась собой настолько, что переставала себя осознавать. Зна-

ния, мысли, сомнения, чувства — все выветривалось из нее; Нэла входила в дом и в ту же минуту была уже его частью, как статуя Венеры Милосской, которая стояла возле лестницы, ведущей на второй этаж.

Эту статую сделали по папиному заказу в Германии, она была точной гипсовой копией луврской. Когда тринадцатилетняя Таня Алифанова впервые пришла в гости к Нэле и Ваньке, то очень удивилась, что Венера со всех сторон разная, ну точно как живой человек, и лицо у нее разное, то печальное, а то и беспечное. Тане это было тогда в новинку, потому она и заметила, а они с Ванькой всегда про свою Венеру это знали.

Родители были не в отъезде, просто ушли куда-то. Нэла поняла это по тому, что в доме царил живой разор, который она тоже знала с детства. Все лежало не на своих местах, вернее, просто ничто не имело постоянных мест, а оказывалось там, где было удобно хозяевам в каждую минуту их жизни. У непривычного человека, наверное, голова должна

была кругом пойти от водоворота вещей и вещичек, картин и скульптур, вышитых золотой нитью подушек и разноцветных шалей, наброшенных на резные спинки кресел — от всего, из чего складывалась жизнь гербольдовского дома.

Глубокое блюдце из нойзильбера, в которое мама складывала свои украшения, было полно, и поверх колец в нем лежало ожерелье из больших серебряных бусин, покрытых арабской вязью. Мама купила его в старой лавке в Иерусалиме и, если бы уехала куда-нибудь, то наверняка взяла бы с собой: она надевала украшения под свое прихотливое настроение, а это ожерелье совпадало с ним часто.

Нэла оставила чемодан в прихожей, прошла через гостиную в сад и села на низкую скамеечку под цветущей яблоней. Она уехала из родительского дома так давно, что он связывался в ее сознании только с детством, а к детскому состоянию следовало привыкнуть.

— А предупредить нельзя было? Я тебя встретил бы.

Брат стоял у забора с левертовской стороны, но забор был и не забор, а просто невысокий штакетник, поэтому Нэла могла сразу обнять его, что и сделала.

— Зачем меня встречать? — Она встала на скамеечку и, перегнувшись через штакетник, чмокнула Ваню в щеку. — Я до Белорусской на аэроэкспрессе доехала, и на такси десять минут потом. А ты бы целый день потерял.

Ей совсем не хотелось, чтобы он терял не то что день, но даже час своей нынешней жизни на такое бессмысленное занятие, как стоянье в пробках. Слишком тяжело складывалась жизнь ее брата, пока в ней не появилась Таня, и пусть он тратит теперь время только на счастье.

К Ваньке ей и привыкать было не надо, хотя она рассталась с ним тогда же, когда и с домом на Соколе, и жизни их шли с тех пор настолько по-разному, что в них не осталось, кажется, ни единого схожего элемента. Но близнечная связь не выдумка мистиков, а чистая правда, Нэла по себе и Ваньке

это знала, при том что они и не близнецы даже, а просто двойняшки.

— Хоть позвонила бы. — Он быстро провел ладонью по ее голове. — Таня с Алькой дома бы остались, а так они на экскурсию поехали. В Суздаль.

— Еще бы не хватало, чтобы они из-за меня не поехали. И к тому же я не знала, приеду ли.

От брата скрывать было нечего, и Нэла говорила чистую правду: когда сидела вечером на берегу Шпрее и смотрела на темную воду, то еще не знала, полетит ли в Москву, и билет купила с айфона перед самым выездом в аэропорт.

— У тебя что-нибудь случилось? — спросил Ваня.

Никто бы этого про Нэлу не почувствовал, но у него чутье на любое человеческое состояние было обостренное. И от природы — он всегда был такой — и из-за сына, конечно: у того был аутизм, огромную часть своей жизни Ваня провел, занимаясь только им, и это сказалось таким вот образом — он видел людей насквозь и понимал их желания прежде, чем они сами о них догадывались.

— Нет, ничего, — ответила Нэла. — Антон предложил приехать. Я подумала и приехала.

— И долго думала? — поинтересовался брат.

— Не очень! — засмеялась она.

Прав Ванька, не в ее привычках взвешивать за и против, которые заранее все равно не предусмотришь и не взвесишь. Она лучше сначала сделает, а потом оценит последствия, и тоже всегда такая была, с детства, и жизнь свою построила так, чтобы к сорока годам у нее не было никаких причин меняться.

— Пойдем, — сказал Ваня. — Пообедаешь у нас.

Он раздвинул штакетины, и Нэла пролезла в левертовский сад. Все соколянские дети являлись к соседям через заборы, не по улицам же обходить.

Этот дом изменился так же мало, как и родительский. Разумный дух Евгении Вениаминовны веял в нем, не зря Нэла видела между нею и Таней сходство, хотя его вряд ли замечал кто-то кроме нее.

Что в доме живет мальчишка, тоже было заметно — по новенькому турнику в саду, по грязному

футбольному мячу, по каким-то напоминающим латы приспособлениям, которые висели на стене в прихожей, и по множеству других мелочей, которые сопровождают жизнь подростка.

Подросток этот, Алик, появился в левертовском доме год назад и таким образом, который даже Нэле казался нетривиальным. Он был внуком Евгении Вениаминовны, но отец его, Вениамин Александрович Левертов, узнал о существовании этого ребенка так поздно, что успел только оформить усыновление, а забрать к себе не успел — умер. Забрала Алика из детдома Таня Алифанова, никакого родства с ним не имевшая, и объяснить это можно было только всей ее природой, потому что любые другие объяснения — что она жила в этом доме девочкой, что в те годы даже влюблена была в Левертова, — такой ее поступок объясняли лишь приблизительно.

Впрочем, Нэла считала, что все это не имеет теперь значения. Теперь есть ее брат и есть Таня, важно только это, и вряд ли Ваня воспринимает как трудность, что у Тани есть мальчик Алик, будь тот

хоть сорви-голова, хоть ангелочек с рождественской открытки.

— Ты борщ ешь? — спросил брат из кухни.

— Я все ем.

— А я уже не все. — Он появился в дверях гостиной с половником в руке. — Кто б мне раньше сказал! Всегда был поджарый, как собака, над Лилей смеялся, что она на диетах сидит, а теперь самого от бутерброда с колбасой разносит мгновенно.

Лилей звали его жену, их сын Вадик и был аутистом, им Ваня и занимался четырнадцать лет, бросив работу и весь внешний мир оставив побоку. Это приводило в отчаяние родителей и даже Нэлу, но сделать с этим нельзя было ничего: внешний мир не приспособлен был для того, чтобы в нем мог сколько-нибудь самостоятельно существовать такой ребенок.

Год назад выяснилось, что вообще-то мир прекрасно к этому приспособлен. Лиля влюбилась в учителя, который приезжал в Москву из Америки по программе социализации аутистов, и уехала вместе

с ребенком к нему в Техас. Нэла, правда, не знала, любовь это с Лилиной стороны была или расчет — скорее всего, то и другое поровну, — но зато знала, что жизнь ее брата это просто обрушило. Все, что со стороны выглядело грузом, давно уже стало опорой его жизни, и когда оказалось вдруг, что этой опоры — необходимости заботиться о ребенке, о котором кроме него не мог позаботиться никто, — больше нет, Ванина жизнь просто развалилась, и обломки ее придавили его так, что вряд ли он сумел бы из-под них выбраться.

Если бы не Таня.

— Это тебя Таня борщами раскормила! — засмеялась Нэла.

— Ну в общем да, раскормила, — кивнул брат. — Только не борщами.

— А чем?

Он не ответил — ушел в кухню, где что-то забренчало; наверное, крышка на кастрюле с борщом. Но Нэла и без слов услышала его ответ, вернее, он и без слов был ей понятен.

Покоем Таня его раскормила. Не тем покоем, который дается равнодушием, а тем, который дается любовью.

Ну и, конечно, метаболизм от нервов ускоряется, а прекрати нервничать, и сразу начнешь от куска хлеба толстеть, это любая женщина знает.

Ваня принес борщ в супнице, которую Нэла тут же вспомнила. В ней Евгения Вениаминовна часто приносила соседям попробовать какие-то невероятные яства, которые она готовила в качестве повседневной пищи, а мама даже в качестве праздничной вообразить себе не могла.

Они ели борщ, в самом деле вкусный, и разговаривали — о Тане, об Алике, у которого обнаружились большие способности к математике, о конструкторском бюро, куда Ваню взяли несмотря на огромный перерыв в работе…

— Ты-то как живешь, почему не рассказываешь?

Брат спросил это мимолетным тоном, но Нэла знала, что спросил не из вежливости.

— Просто нечего, Вань, — сказала она. — Живу не скучно, но рассказывать нечего.

— Так бывает?

— Вышло, что да.

— Вот прямо само собой взяло и вышло? — усмехнулся он и, не дождавшись ее ответа, спросил: — Ты поэтому к Антону приехала?

— Не знаю. Не понимаю, почему я приехала, а главное, зачем.

У кого другого такой ответ вызвал бы, может, раздражение, но Ваня умел спрямлять запутанные линии, и в конечном пункте их запутанности выходило, что суть в общем понятна и без того, чтобы разбираться, каким образом она выявилась.

— Ты лучше про Алика вашего расскажи, — сказала Нэла. — Какой он?

И опять — другой сказал бы, что этого в двух словах не объяснишь, но Ваня ответил:

— Умный, но не разумный. Сердечный, но безответственный. С пяти лет в детдоме, а это, знаешь, не та жизнь, которая дает опоры будущему.

Когда-то в детстве они с братом читали одни и те же книжки и думали обо всем одинаково, потом

он стал читать другое и думать иначе — проявился аналитический, системный склад его ума, совсем с Нэлиным не схожий, и профессия его инженерная этому соответствовала. А потом, когда круг его жизни вдруг замкнулся непроницаемой чертой и оказалось, что профессии больше нет и только внутри этого замкнутого круга ему приходится существовать, — все переменилось в нем, и он стал видеть людей не аналитически, а более тонким образом, чем видела их даже Нэла, которой тоже проницательности было не занимать.

— Ничего, Вань, — сказала она. — Он же левертовский мальчик. У него в собственной крови опор достаточно.

— Это да, — кивнул брат.

То, что она сказала, было ему понятно, а кроме него, пожалуй, больше никто ее слов не понял бы.

— Как он вас с Таней называет? — спросила Нэла.

— Таню по имени. Меня Иваном Николаевичем звал, а сейчас никак. По-моему, хочет папой называть, но не решается.

— А ты его не торопишь.

— Конечно.

Она хотела спросить, как дела у Вадьки в Америке, но не стала спрашивать. Можно и у родителей потом выяснить, а для Вани едва ли за год стало безболезненным, когда задевают эту струну.

И все-таки он счастлив, он слегка ошалел от неожиданности своего счастья, это так заметно, что и проницательности никакой не нужно. Глаза у него всегда были внимательные, а сейчас внимание не просто ощутимо в них — оно подсвечено счастьем, как сильным и ясным огнем, и надо не иметь ни сердца, ни ума, чтобы своей внутренней смутой мешать этому огню разгораться все сильнее.

— А родители где? — спросила Нэла. — Я им с дороги звонила, но у них телефоны выключены почему-то.

— Они в американском посольстве, потому и выключены. За визой пошли, — ответил брат. — Папу в Нью-Йорк пригласили на год, в Колумбийском университете преподавать.

— Скоро уезжают?

— Через три дня. Если визу дадут. Сейчас же с этим сложности, под лупой каждого разглядывают. — Он сердито крутнул головой. — И как мы в такое превратились? На весь мир стыдобище.

Ваня принес фаянсовую миску с длинными темно-синими ягодами жимолости. В детстве Нэла любила ягоды из левертовского сада — Евгения Вениаминовна всегда угощала ими, потому что у Гербольдов росла только смородина, и ту все ленились собирать.

Они ели и разговаривали. Вернее, Ваня рассказывал о своей новой жизни — действительно совершенно новой, как будто он вышел преображенным из кипятка своего долгого горя.

Он рассказывал об Алике, о своей командировке на Урал, где делали для самолетов детали, которые он конструировал, о Тане… О Тане он говорил словно бы между делом, но, глядя на него, Нэла понимала, что это самое главное в его жизни и есть — Таня. Что это счастье его и есть.

И так же ясно она понимала, что брат отделен от нее своим счастьем, как прежде был отделен горем. Прежнее печалило ее, нынешнее радовало, но было в том и другом общее, и это общее было — ее от него отдельность. Она его любила, она знала в нем все, но при этом так же не могла приблизиться к нему, как не могла бы приблизиться к любому случайному, лишь краем проходящему по ее жизни человеку, и дело было, значит, совсем не в нем.

В ней было дело, только в ней, но почему — ускользало от ее понимания.

Глава 3

Впервые она смотрела на Москву глазами приезжего.

Если ты уехал из дому сразу после школы, то следует, наверное, удивляться, что это произошло только теперь, двадцать лет спустя. Но Нэла удивилась тому, что это вообще произошло — как только вышла из метро на Пушкинской, ощущение чужого города стало таким острым, что она даже растерялась.

Впрочем, растерянность у нее никогда не длилась долго, а сейчас причины растерянности были так очевидны, что Нэла выдернула себя из нее одним движением, как морковку из грядки.

Тверская улица преобразилась совершенно. Нэла давно и тщательно устроила свою жизнь таким образом, чтобы у нее перед глазами не появлялись уродливые предметы — ни в квартирах, ни в городах, где она жила. Квартиры и города менялись, но это условие оставалось неизменным, за этим она следила.

И странно было бы, если бы она не заметила, что Тверская теперь представляет собою какую-то диковатую смесь детсадовского утренника с престижным кладбищем. Вдоль всей улицы, Тверского бульвара и в Новопушкинском сквере высились пластиковые цветы и какие-то фигуры в человеческий рост — приглядевшись, Нэла опознала в них зайцев и расписные яйца. Памятник Пушкину был отгорожен от улицы арками, увитыми искусственными гирляндами, от ядовитого цвета которых она почувствовала на зубах оскомину. Уличные скамейки были гранитными, как и тротуары, и в гранитных же монументальных вазонах торчали какие-то чахлые растения.

Конечно, она и читала, и слышала, каким образом перестраивается Москва, но то ли забыла об этом, то ли читать и даже разглядывать на фотографиях это одно, а увидеть собственными, да еще отвыкшими от безвкусицы глазами, совсем другое. Как бы там ни было, но преображенная Тверская оказалась для нее неожиданным зрелищем.

— Знаешь ли, Нэлка, все эти причитания по поводу знакомых с детства переулочков, по-моему, признак старости и больше ничего, — говорила одноклассница Наташка Парфенова. — Жизнь не стоит на месте, у людей потребности растут, им нужно новое, и это нормально.

С Наташкой случайно встретились весной на набережной Ниццы, и именно в ее смартфоне Нэла рассматривала фотографии московских улиц, пока пили кофе в «Негреско».

Они не виделись лет десять, но в первые же десять минут Наташка сообщила о себе все — что они с мужем всегда приезжают в Ниццу в начале апреля, пока толпы нет, что муж ее работает в московской мэрии, что море уже теплое, да хоть бы и холодное, Витасик у нее морж и окунается в крещенскую купель, что Москву теперь не узнать, такая она стала шикарная и современная. Нэла не собиралась воспитывать у Наташки вкус, поэтому не стала высказывать, что думает о новом московском шике и о том, нужны или не нужны знакомые с детства переулочки. Вся Ницца, да и вся Франция была вообще-

то одним сплошным на это ответом, но Наташка была не из тех, кто способен такой ответ услышать.

И вот теперь Нэла шла по Большой Бронной к Патриаршим и не то что не узнавала улицу — гротескно расширенные тротуары все-таки не до такой степени изменили Большую Бронную, чтобы ее нельзя было узнать, — но ни разум ее, ни сердце не отзывались тому, что она видела. И догадка, что дело совсем не в новоявленном урбанизме, а только в ней самой, тревожила ее.

Антон сидел на открытой ресторанной веранде у пруда и читал что-то в айпаде. Неизвестно, изменился ли он за то время, что они не виделись, но затылок у него не изменился точно. В затылке было упрямство; Нэла не объяснила бы, каким образом оно выражается именно в затылке, но видела его отчетливо.

В вихре надо лбом лихое его упрямство было тоже. Когда Нэла обошла столик и села напротив Антона, а он поднял взгляд, она сразу это увидела.

— Привет, — сказала Нэла. — Ты не изменился.

— Ты тоже, — ответил он. — Нет чтоб сначала поболтать о том о сем, разговор завязать. Привет, Нэлка.

Неизвестно, правда или нет, что человек полностью меняется каждые семь лет своей жизни, но даже если это так, все равно никогда не покажется тебе посторонним тот, с кем ты был близок в юности. Это только что подтвердилось при встрече с Марион и сейчас подтверждалось снова: Нэла обрадовалась, увидев бывшего мужа. Правда, она обрадовалась и увидев в Ницце одноклассницу Наташку — просто потому, что сразу вспомнилось, как в пятом классе сбежали с уроков играть в казаки-разбойники и они с Наташкой спрятались в беседке на Звездочке, а мальчишки не могли их найти.

С Антоном она в казаки-разбойники не играла, но, выражаясь высоким стилем, делила пищу и кров в те годы, когда складываются житейские привычки, так что вряд ли он когда-нибудь покажется ей посторонним.

И точно так же это ничего не означает, как и мгновенная радость от встречи с бывшей одноклассницей.

Но все-таки она обрадовалась, увидев его.

— Что тебе заказать? — спросил Антон.

— Макиато.

— А пообедать? — удивился он. — Я специально этот ресторан выбрал, здесь эклектическая кухня и вкусно. После Италии трудно удивить, я понимаю. Но в Москве теперь не хуже кормят, чем в Европе, любой тебе скажет.

— Ну давай пообедаем, — пожала плечами Нэла.

И тут же с удивлением поняла, что действительно проголодалась, хотя пять минут назад никакого голода не испытывала. И тут же вспомнила про Антонову способность убеждать не логикой, а каким-то другим, неуловимым и мгновенным способом. Это привлекло ее в нем когда-то. Впрочем, не только это.

Сейчас он немного рисовался перед нею — заказывал еду с такой непринужденностью, которая,

Нэла знала, не была присуща ему сама собою, а значит, тщательно им в себе взращивалась.

«Ресторанных критиков читает, наверное», — весело подумала она.

Антон всегда умел тронуть всяческой ерундой, и это не изменилось тоже.

— Пить что будешь? — спросил он.

— Что закажешь, — еле сдерживая смех, ответила она.

Он поймал ее взгляд, засмеялся и заказал шампанское.

В общем, они оба были рады встрече и не считали нужным скрывать это друг от друга.

— Долго в Москве пробудешь? — спросил Антон.

Нэла вспомнила, что он не предложил ей приехать, но лишь спросил, не будет ли она в Москве в июне, а когда она ответила, что будет, то поинтересовался, могут ли они встретиться. И получается таким образом, что встреча их хоть и не совсем случайна, однако назначена словно бы мимоходом, а

потому надо делать вид, что эта встреча не имеет для нее значения.

Но играть в такие игры с человеком, которого знаешь как себя, Нэла считала излишним.

— Ты зачем меня позвал, Антон? — спросила она.

— Работу хочу предложить, — ответил он.

Что ж, значит, и он ничего про нее не забыл. Во всяком случае помнит, что с ней лучше говорить без обиняков.

— И какую же? — усмехнулась Нэла. — В Госдуме?

— Что вспомнила! Я там сто лет уже не работаю.

— А где работаешь?

— У меня архитектурное бюро.

Если бы он сказал, что выступает в цирке, она удивилась бы меньше. Или по крайней мере так же.

Ее удивление понравилось ему, это было заметно. Только неправильно он ее удивление понял.

— Ты-то причем к архитектуре? — поинтересовалась Нэла.

— При том, что здание не только нарисовать надо, но и построить. — Он обиделся на ее вопрос, хоть и постарался не подать виду. — А это, знаешь ли, не так-то просто. Особенно в Москве.

— Так ты строишь, что ли? — снова удивилась она.

Может, зря удивилась: образования, которое позволяло бы что-либо рисовать или строить, у него нет, но ведь к сорока годам человек может приобрести самые разнообразные навыки. В Госдуме Антон работал помощником депутата, но мало ли чем занимался после этого. Они не виделись, не перезванивались, не переписывались — Нэла ничего не знала о нем. И если бы он вдруг не объявился в одном из ее мессенджеров, то и не узнала бы, а если бы не узнала перед поездкой в Берлин, то и не думала бы о нем, глядя в темную воду Шпрее, а если бы не думала о нем в тот вечер, то и не поехала бы в Москву и не встретилась бы с ним сегодня.

— Я не строю, — сказал Антон. — Я добиваюсь, чтобы было построено. Это еще на стадии замысла надо предусматривать.

— Не слишком заноситься?

— Или наоборот.

— Будьте реалистами — требуйте невозможного? — засмеялась она.

— У меня чаще так, — кивнул он. — Во всяком случае, я стараюсь максимально это обеспечить.

— Что за шрам у тебя? — спросила она.

— Где? — Антон быстро коснулся ладонью скулы. — А!.. Это давно уже. Столкновение с действительностью.

Нэла видела: он обрадовался, что она спросила о шраме. Он хочет быть ей небезразличен, это она поняла и по трогательной небрежности, с которой он заказывал для нее обед, и по вот этой его броской фразочке о столкновении с действительностью.

И это вызвало легкий душевный трепет, который обрадовал ее. Надоела собственная неприкаянность; только сейчас Нэла нашла точное обозначение для снедавшего ее беспокойства.

— У меня нормальный бизнес, не бойся — сказал Антон.

Нэла рассмеялась и сказала:

— Не боюсь. Но удивляюсь.

— Чему?

— Не помню, чтобы ты когда-нибудь интересовался архитектурой.

Она не только этого не помнила, но помнила как раз обратное: он ненавидел праздные прогулки по городу — по любым городам — и не понимал, что интересного в том, чтобы глазеть на дома. Город был для него местом, в котором он мог или не мог осуществлять какую-нибудь деятельность, и любое здание, да и вообще любой предмет внешней среды он воспринимал только с той точки зрения, мешает этот предмет его деятельности или помогает. Кельнский собор или Гранд Опера не мешали и не помогали, а следовательно, не существовали для него вовсе — он не обращал на них внимания так же, как на пятиэтажку в Чертанове. Как Нэла ни старалась когда-то, его прагматизм был неистребим, ничего с ним нельзя было поделать. Потому она и удивилась, что в его жизни возникла именно архитектура. Уж

скорее и правда в цирке стал бы выступать — летать под куполом или шпаги глотать.

— Я ею и не интересовался, — кивнул Антон. — Работал в мэрии, а…

— Что-то вы все в мэрии работаете, — заметила Нэла. — В крещенскую купель не окунаешься?

— Причем тут купель? — не понял Антон. — А что в мэрии… Ну а где еще работать?

— Интересный подход, — усмехнулась она. — Есть и другие места, я думаю.

— Нет других мест. — Его глаза, синева которых поразила ее когда-то и не выцвела до сих пор, мгновенно стали ледяными. — Про все эти штуки, когда на хорошем деле можно было подняться, ты забудь. Теперь — только с бюджетом грамотно работать, все серьезные деньги так или иначе оттуда. Мэрия наиболее приемлемый вариант. И денежно, и… Приемлемо, в общем, — повторил он.

— Ты меня звал, чтобы это сообщить? — пожала плечами Нэла. — Спасибо. Меня это не интересует. Что дальше?

— Нэлка, ты что? — Он взъерошил вихор, проведя по нему пятерней, это всегда было у него признаком волнения. — Я совсем не то хотел сказать. Черт, сама же меня не туда завела! Вечно ты к какой-нибудь ерунде прицепишься. С мэрией я уже три года как расстался, не о чем вообще… Но когда еще работал, стал высматривать, чем бы таким заняться… Перспективным. Ну и нашел этих ребят, сотрудников своих теперешних. Они как раз Архитектурный закончили, свое бюро собирались открывать. Но потом на мое предложение согласились.

— Почему согласились? — быстро спросила Нэла.

— Я их не шантажировал и вокруг пальца не обводил, — догадливо ответил Антон. — Просто ребята толковые. Сообразили, что на одном таланте далеко не уедут. Связи нужны, возможности. Деньги, кредиты. Я им все это предложил — они согласились. С троих началось, а теперь пятьдесят человек у меня работают. И заказов, скажу тебе, хватает. Архитектурный рынок растет, что естественно. Москва — это пространства. Мировая столица.

— Эту часть можешь пропустить, — сказала Нэла. — Я тебе зачем?

Он не ответил. Но в его глазах она читала по-прежнему, и тот ответ, который прочитала сейчас, был ей приятен.

— Ты же во всем разбираешься, — наконец произнес он. — Я-то… Ну, про меня ты знаешь. Но и ребятам моим, хоть в архитектуре они как надо рубят, широты образования все-таки не хватает. Молодые они.

— Это был мне комплимент? — Нэла рассмеялась так, что даже слезы выступили. — Не меняешься ты, Антон!

— Нэлка! — воскликнул он; синева из глаз так и брызнула. — Ну что ты переворачиваешь! Я же совсем не про то… Учат сейчас плохо, вот я про что. Или учат хорошо, да они учиться не умеют, молодые потому что. Но знаний у них мало, это мне уже понятно.

— А мне не понятно, — пожала плечами Нэла. — Ты меня, что ли, приглашаешь их культурный уровень повышать?

— Не мучай ты меня, — сказал он почти жалобно. — Придумаем, как твою работу назвать. Ты мне нужна, Нэлка, — вдруг, совсем без перехода, выпалил он. — Так нужна, что аж зубы сводит.

Одно дело взгляд, неясная материя, и совсем другое — слова, смысл которых предельно ясен. Таких прямых слов она все-таки от него не ожидала. И вряд ли хотела. Что на них ответить?

К счастью, официант принес тарелки с закусками.

— Видишь, и обслуживают здесь быстро, — сказал Антон.

Что быстро, это точно. Какие-нибудь десять минут ему понадобилось, чтобы решиться на признание в любви. Или это не было признанием в любви? Да, может и не было. Во всяком случае, теперь вид у него уже вполне спокойный. Обычный сорокалетний мужчина, обедающий со старой знакомой. Неплохо, надо признать, выглядящий мужчина. Не располнел, не заматерел, не опустился. Живость сохранил в общении. Следит за собой. Одет со вкусом.

То, что она оценивает его с отвлеченной приметливостью, нисколько Нэлу не смущало. Она ехала на встречу с ним, чтобы проверить, не получится ли у них возобновить отношения. Как выяснилось, он тоже имел в виду именно это. Значит, стоит все объективно взвесить, потому что им не восемнадцать лет, чтобы строить отношения на такой зыбкой почве, как мгновенно вспыхнувшая страсть. Тем более что и в восемнадцать лет это ничем толковым не закончилось. Да и нет сейчас никакой страсти, во всяком случае, у Нэлы. Так что оценить его стоит, и именно беспристрастно, раз уж она собирается попробовать с ним что-то — что именно, пока неясно — снова.

За кофе Антон рассказал о своем архитектурном бюро подробнее — что назвал он его «Дайнхаус» в память о своей немецкой юности, что рентабельность процентов тридцать, что с первыми ребятами из тех, которые у него теперь работают, он познакомился четыре года назад…

— Сразу понял, что они такое, — сказал Антон. — Я, может, словами и не назову, в чем тут дело, но где талант, а где понты, не перепутаю. Они мне загородный дом построили, — добавил он. — Сама увидишь.

Последнее он высказал словно бы между прочим и как само собой разумеющееся, но Нэла расслышала в его голосе вопросительный оттенок. Отвечать на этот полувопрос она не стала.

— Тебе у меня понравится, — сказал Антон. И поспешно пояснил: — Работать, в смысле. — Нэла еле сдержала улыбку, так трогательно он старался соблюдать дистанцию; она-то знала, как мало ему это свойственно. — В работе моей, понимаешь, общение — огромное дело.

— Почему? — машинально спросила Нэла.

На самом деле она не слишком вникала в смысл его слов. Антон знает, что она может, что нет, и раз предлагает работу, значит, она с ней справится.

Она не слушала его слов, но вслушивалась в интонации, всматривалась в лицо и жесты. Ей надо

было понять, изменилось ли в нем то, что заставило их расстаться, и если изменилось, то как — ослабело, исчезло совсем или, наоборот, усилилось? Это было решающе важно, но пока оставалось ей непонятным.

— Потому что без общения заказов не получишь, — ответил Антон. — Отчасти, конечно, старые мои связи работают, но чтобы на закрытые тендеры приглашали, надо действовать сегодня, а не жить вчерашним днем. На открытых конкурсах проекты не больно-то ищут, — пояснил он. — Там заявок море и всякая шушера вьется. Серьезные заказчики отбирают несколько архитектурных бюро, организуют для них закрытый конкурс и на нем проекты рассматривают. Чтобы нам из этого пула не выпасть, что надо?

— Ну что? — улыбнулась Нэла.

Загорается по-прежнему. Интереса к жизни не утратил. Это хорошо. Беспрестанно тормошить вялого мужчину и знать, что без твоих усилий он не-

медленно превратится в бесформенный ком… Нелегкая это работа, из болота тащить бегемота, и ей это совершенно не нужно.

— Постоянно на виду надо быть, вот что, — ответил Антон. — Во всяком случае, от тебя я ожидаю именно этого. Быть на виду, производить впечатление, быстро реагировать. Оценивать, что хочет заказчик, внушать ему, что хочешь ты, и так внушать, чтобы он был уверен, что сам этого захотел. Ты это умеешь.

— Думаешь, умею?

— Не думаю, а знаю.

«Что-то не припомню, чтобы мне удалось тебе внушить, чего ты сам не хотел, — подумала Нэла. — Даже наоборот».

Но высказывать это Антону она не стала. С чистого листа — значит, с чистого. Кто старое помянет, тому глаз вон. Правда, кто забудет, тому оба долой, но сейчас стоит ограничиться первой частью народной мудрости.

Нэла допила кофе, Антон расплатился, и, сойдя с ресторанной веранды, они пошли по аллее вдоль пруда.

Многое здесь переменилось, но Патриаршие, видимо, были из числа таких мест, которые трудно изменить до неузнаваемости — слишком сильна их собственная энергия, слишком глубоко уходит в прошлое. По всему периметру пруда тянулись рестораны, из них доносилась музыка, множество людей сидели на открытых верандах и лавочках или фланировали по дорожкам, но ощущение покоя, ясного и трепетного, как воздух над водой, было точно таким же, как тридцать лет назад, когда Нэла и Ванька приезжали в гости к тете Зое, папиной старшей сестре, и, пока родители сидели за чаем и скучными взрослыми разговорами у нее дома — вон в том доме с фигурами львов у входа — убегали играть на детскую площадку возле памятника Крылову. В Нэлу тогда влюбился мальчик из Ермолаевского переулка, в нее всегда кто-нибудь влюблялся — Ванька говорил, это потому, что она как спичка, она

всегда думала, что брат имеет в виду ее телосложение, и лишь недавно он объяснил, что имел в виду ее способность поджигать своим задором.

Только Антона поджигать не требовалось. Может, поэтому у них ничего и не вышло когда-то.

— Подожди здесь, я минут через десять за тобой подъеду, — сказал он, когда дошли до угла. — Места поблизости не было, машину черт знает где пришлось оставить.

— Комфортная среда? — усмехнулась Нэла.

— Ну а что, лучше было, когда в три ряда на газонах парковались? — пожал плечами Антон. — У нас тут теперь как в Европе.

Насчет газонов он был прав, но она рассердилась. Была какая-то неточность в его словах, но в чем она состоит, объяснить Нэла не могла, это и злило.

— Не подъезжай, — сказала она. — Я в метро.

Он, конечно, сразу заметил, что она рассердилась, но не расстроился, а замкнулся — глаза стали холодные. Ну и ладно. Было бы не только глупо, но

и просто нечестно с ее стороны пытаться произвести на него впечатление получше. Он ведь тоже, наверное, оценивает, изменилась ли она, чтобы понять, стоит ли затевать с ней отношения заново. Вот и пусть оценивает объективно.

Дома стоял кавардак, обычный для гербольдовского дома вообще, а перед долгим путешествием особенно.

Папы, правда, не было: он терпеть не мог сборов и никогда в них не участвовал, полностью передоверяя это маме. Что мама способна на какое-либо системное действие, должно было казаться странным любому, кто ее знал, но только тому любому, кто знал ее поверхностно. Знавшие же ее близко, может, и удивлялись, как эта способность сочетается в ней с созерцательностью, безалаберностью, фантазиями и прочими подобными чертами, но знали также и то, что устраивать быт она умеет, хотя и с причудливым своеобразием.

Посередине гостиной, у ног Венеры Милосской, стояли два открытых чемодана, а по стульям, креслам, табуреткам и перилам ведущей наверх лестницы мама вчера вечером и сегодня утром раскладывала вещи, вынимая их из шкафов и ящиков. Вещей набралось много, и теперь она обходила комнату по периметру, собирала их, как грибы, и слоями складывала в чемоданы, свой и папин, или откладывала в сторону.

За этим занятием застала ее Нэла.

— Помочь? — на всякий случай спросила она.

— Зачем? — пожала плечами мама. — Через полчаса я закончу, чаю выпьем. Обеда, правда, нет.

— Я в городе пообедала.

— Посмотри пока фотографии. — Мама кивнула на лежащий на столе альбом. — Случайно в комоде нашла. Знаешь, в том, прадедушкином, который в мастерскую вынесли.

Случайно в доме могло найтись что угодно — и вследствие характера его обитателей, и просто по-

тому, что это вообще естественно для дома, в котором почти сто лет живет одна и та же семья, притом насыщенно живет каждым своим поколением. Альбомов и с фотографиями, и с графическими или пастельными портретами даже без вновь найденного было такое количество, что Нэла различала большинство запечатленных родственников не по лицам, а по одежде; пригодился курс истории моды, который она брала в университете.

Альбом лежал на ломберном столике, неизвестно откуда взявшемся когда-то в гостиной; дом был построен в те времена, когда в такие игры уже не должны были бы играть. А может все-таки играли, ведь поселок Сокол строился при нэпе, когда казалось, что нормальная жизнь возвращается.

Нэла открыла альбом, перевернула несколько страниц, переложенных пожелтевшей папиросной бумагой. Прадеда узнала сразу — видела его фотографии раньше, да и Ваня был на него похож, он вообще удался в отцовскую линию. Линия эта, надо сказать, выглядела эффектно, во всяком случае, в

мужском ее проявлении: все Гербольды-мужчины были высоки ростом, широки в плечах, и даже при полном несходстве характеров лица их имели одинаково правильные черты, а серые глаза — внимательное выражение. Хотя если Ваньке, например, в самом деле было присуще внимание к окружающим, то папа всегда был внимателен к одному лишь себе, и непонятно было, является такое его свойство признаком эгоизма или таланта. Как бы там ни было, о мужчинах своего семейства Нэла считала правильным судить по брату, а о женщинах если и хотела бы судить по себе, то едва ли это было бы правильно: внешностью и характером она непонятно в кого удалась — может, в какую-нибудь прабабушку из понтийских греков; была в мамином роду и такая кровь.

Она рассеянно долистала альбом до конца. Студенческая вечеринка, и студенты выглядят гораздо взрослее, чем сейчас. Пикник сотрудников Наркомстроя, и сотрудники эти тоже кажутся старше, чем нынешние главы международных корпораций —

Нэла подумала, что Илон Маск в свои сорок пять лет по сравнению с ее прадедом в том же возрасте смотрится просто мальчишкой. Женщины одеты так тщательно, как сейчас и одеваться-то неприлично… Большинство женских фотографий были не вставлены в прорези на страницах, а просто сложены стопкой в конце альбома. Интересно, что это значит — что прадед был ходок и сосчитать не мог своих женщин? Нэла перебрала снимки — все как на подбор красотки, так что ее версия о прадедовом любвеобилии, может быть, правильная.

А может быть и нет. И никакого значения не имеет ни то ни другое, потому что всего через сто лет никто уже не помнит ни женщин этих, ни мужчин, и, разглядывая фотографии, она замечает не столько лица их, сколько шляпки.

Ей стало не по себе от этой мысли. Хорошо, что одна из шляпок оказалась эффектная, это отвлекло. Нэла видела точно такую в маленьком берлинском магазине, она называлась ягодная чалма. Надо же,

в Москве тоже такие были, оказывается. Или, может, прадед из Берлина как раз и привез эту шляпку любимой женщине, или эта женщина была для него не любимой, а случайной…

Нэла поняла, что почти заставляет себя думать о каких-то старинных историях, которые сама же и придумывает, хотя по горло сыта стариной, особенно после недавнего своего погружения в палладианский мир, — а на самом деле прошлое волнует ее сейчас только до той черты, на которой она встретилась с Антоном в юности и за которую теперь пытается зацепиться, потому что не видит в своей жизни никаких других зацепок, несмотря на этот старый дом, и на эти снимки, и на разумный прадедов взгляд, снимками этими остановленный.

Глава 4

Всем родительским знакомым Нэлино решение казалось глупым. Родителям, впрочем, тоже, а вернее, они просто считали его не решением, а очередным безалаберным порывом, из которых состояла вся жизнь их семнадцатилетней дочери.

Одно дело уехать за границу в советские времена, тут и спрашивать не стоит почему, и так понятно. Но почему, а главное, зачем уезжать сейчас, когда жизнь в Москве кипит, и какая жизнь! Свободная, яркая, с миллионом всяческих возможностей.

— Если бы мне кто-нибудь в твоем возрасте предоставил тысячную долю того, что есть у тебя, я ничего другого не хотела бы, — сказала мама. — Объясни мне, пожалуйста, что ты надеешься найти в Германии такого, чего не сможешь получить в Москве?

Она не ответила, да вряд ли мама и ожидала от нее ответа. Все в семье давно смирились с тем, что Нэла и рациональность — две вещи несовместные.

И зря, кстати, рациональность в ее нынешнем решении есть, и очень даже понятная.

Сколько угодно родители могут говорить про миллион открытых перед ней возможностей, но нет в этих возможностях главного — непредсказуемости. Нет и быть не может. Поступит она в МГУ, в Полиграф или в Иняз, разница невелика, то есть настоящая, жизненная разница. Все равно она будет уходить утром на лекции, как раньше уходила в школу, сидеть в аудитории, а потом где-нибудь в кафе с однокурсниками, которые будут ей понятны так же, как понятны были одноклассники, потому что они точно такие же, как она сама, выросли в точно таких же семьях, читали те же книжки, занимались в том же самом художественном кружке при Музее изобразительных искусств имени Пушкина, и после занятий она будет точно так же, как всю свою прежнюю жизнь, возвращаться домой, где ее ожидает обед, если приходила Валентина, или не ожидает, если в этот день хозяйство было предоставлено маме, и в том будет единственное различие дней ее жизни — в обеде!

При одной мысли об этом у Нэлы скулы сводило от скуки. И она была на все готова, чтобы выскочить из колеи, проложенной множеством ее заботливых предков за сто лет до ее рождения, если еще не раньше. Но в Москве это точно было невозможно, значит, надо было уехать из Москвы.

Рисовала Нэла посредственно, слух у нее был не абсолютный, а самый обыкновенный, но способность к языкам феноменальная. Это выяснилось. когда ей было пять лет. В доме был граммофон, к нему пластинки, одна из них с дореволюционными детскими песенками на разных языках. Нэла прослушала ее раз двадцать подряд, после чего пересказала содержание всех песенок по-русски. Среди гостей, перед которыми она это проделала, нашлись знавшие английский, немецкий, французский, итальянский и даже португальский, так что точность перевода была подтверждена. Потрясенные родители немедленно взяли для нее учителей — с португальским решили погодить, а английским, немецким, французским и итальянским она к окончанию школы владела свободно.

И что же могло остановить ее в стремлении вырваться из расчисленной московской жизни? Да абсолютно ничего!

Больше всего Нэле, пожалуй, хотелось в Италию, но никакой программы, по которой туда можно было бы попасть сразу после школы, она не нашла. А ей нужно было именно сразу — она сгорала от нетерпения и догадывалась, что каждый следующий год таит в себе опасность того, что ее пыл угаснет. Или нет такой опасности? Как бы там ни было, проверять это Нэла не собиралась, поэтому решила ехать в Бонн, где обнаружились подготовительные курсы, после которых можно было учиться в любом университете Германии.

В Бонн она и плыла теперь по Балтийскому морю.

То есть корабль шел, конечно, не в Бонн, а в Гамбург, дальше Нэле предстояло добираться посуху, и она чувствовала себя как вольный птицелов из любимого маминого стихотворения — вот сейчас сой-

дет на берег и отправится вдоль по рейнским берегам. Энергия била в ней через край, и с удовольствием она пошла бы к месту назначения пешком!

Но до этого должно было пройти еще немало времени, потому что корабль не просто доставлял пассажиров из Петербурга в Гамбург — он назывался «Культурная миссия» и по дороге должен был заходить в разные порты, чтобы эту миссию выполнять. Собственно, потому родители и пристроили на него Нэлу, решив, что девочке будет полезно оказаться среди интересных людей, занятых интересным делом.

Но выйдя в первый же вечер из своей каюты, Нэла подумала, что родители чего-то не поняли.

Первым, кто ей встретился на палубе, была женщина лет пятидесяти в длинном лазоревом сарафане, расшитом по подолу алыми цветами. К ее волосам была прикреплена длинная коса соломенного цвета, именно прикреплена, прямо заколкой пришпилена и для верности прижата кокошником. Нэла подумала, что это артистка, которая будет

участвовать в концерте, но оказалось, что женщина идет в таком странном наряде на ужин. По дороге она сообщила Нэле, что повар здесь настоящий француз, поэтому кормить будут изысканными блюдами. Она сидела за соседним столом, и Нэле было видно, как узорчатая кайма на ее широких рукавах окунается в тарелку с консомэ, когда она тянется за очередным куском хлеба; ела она его так много, как будто пережила голод. Или, может, в самом деле пережила? Нэла не удивилась бы, очень уж необычно выглядела эта дама с помятым лицом и в одежде Василисы Прекрасной.

Правда, присмотревшись, Нэла поняла, что и остальные ее спутники выглядят ничуть не лучше. Или не хуже? Определить это она не могла, но разглядывать их было ужасно интересно.

По палубе ходили мужчины в шароварах и в фуражках, назывались они казачьим хором и вечером после ужина действительно принялись громко петь про есаула, мамку да ветлу.

На противоположной от хора стороне палубы какая-то женщина с лицом то ли алкоголички, то ли уголовницы, стоя рядом с телеоператором, брала интервью у другой женщины, похожей на нее как родная сестра.

— СПИД и онкологию по фотографиям тоже лечу, — говорила та. — Использую только полароидные снимки, они энергетику личности сохраняют.

На шее у нее висела большая дощечка с портретом старухи в цветочном венке, и она время от времени к этой дощечке прикасалась, будто в доказательство своих слов.

Из репродуктора доносился голос:

— Граждане миссионеры, первая смена питания закончилась, приглашается вторая! Те из вас, кто желают креститься, то есть стать христианами, могут прийти в корабельную церковь к двадцати одному часу.

«Сумасшедший корабль», — подумала Нэла.

Дома было много журналов, и в одном из них, совсем старом, довоенном, она прочитала роман с таким названием. Но в романе так называли Дом искусств на берегу Мойки, жили в нем после революции художники и поэты. А здесь она увидела самых настоящих сумасшедших, собравшихся на самом настоящем корабле.

Если бы Нэла оказалась в такой компании дома на Соколе, то посмеивалась бы, наблюдая за происходящим. Вообще-то она в ней и оказывалась — не в такой, конечно, яркой, но в похожей, потому что папа хоть и работал в реалистической манере, но художники среди его знакомых были разные, и Нэла с детства знала, какими странными бывают талантливые люди. Но одно дело смотреть на странных людей со стороны и знать, что на твою жизнь они никак не подействуют, и совсем другое — с головой окунуться в их жизнь, стать ее частью.

Может быть, ощущение погруженности в чужую жизнь усиливалось от того, что кругом было море со стального цвета волнами до горизонта, но все-таки

Нэла смутно понимала: дело не в море, а в чем-то другом… От неясных размышлений ей становилось не по себе и даже почти что страшно, хотя она была не робкого десятка.

И в таком вот необычном для себя состоянии проводила она время на этом странном корабле.

Правда, на нем постоянно что-нибудь происходило, и это отвлекало от смутной тревоги.

Назавтра после отплытия у десяти человек пропали из кают чемоданы. Поднялся переполох, пропажу искали, но понятно было, что чемоданы вряд ли обнаружатся. Скорее всего, их выпотрошили и выбросили в море. Целительница, лечащая СПИД по фотографиям, сняла с шеи дощечку с нарисованной женщиной и, усевшись на корточки посреди палубы, принялась ей молиться. Слова молитвы были непонятны, но к вечеру она объявила, что содержимое чемодана, хоть и не полностью, ей подбросили к порогу каюты, а это означает, что ее молитва услышана, потому что больше никому ничего не вернули.

Тем же вечером Нэла увидела на палубе неподвижно стоящего мужчину, который, как пленный партизан, держал в руках картонку с надписью «Я хочу на Родину».

— Ты к нему близко лучше не подходи, — сказала ей буфетчица в столовой. — Мало ли что человеку в голову придет, от душевного-то переживания.

Нэла засмеялась, но вообще-то ей было тоскливо и хотелось домой уже, пожалуй, не меньше, чем человеку с картонкой.

Мир был огромен, как море, и так же, как море, безразличен к ее существованию. Наверное, это и всегда было так, но никогда она этого не сознавала и никогда не чувствовала себя в огромном этом мире такой одинокой. Это было настоящее одиночество — не когда сидишь одна в своей комнате и слушаешь, как дождь стучит по крыше, разглядываешь картины в альбоме, мечтаешь о чем-нибудь таком же прекрасном, таком же неуловимом, как прикосновения кисти, от которых появляются на холсте ви-

нограднички Арля или осенние стога Плеса, — а когда знаешь, что ни одному человеку из тех, до которых ты можешь вот прямо сейчас дотронуться рукой, нет до тебя никакого дела, и от этого не верится уже, что хоть кому-нибудь есть до тебя дело вообще, и добрый, любящий тебя мир кажется призрачным, не существующим…

Солнечный круг коснулся воды, золотые и алые дорожки побежали по волнам. Не отводя взгляда от играющего света, Нэла шла вдоль борта. Сейчас, на закате, одиночество особенно тяготило ее, и она обрадовалась, услышав голоса.

Среди всех странностей этого корабля была еще и та, что Нэла, всегда чрезвычайно общительная и легко сходившаяся с людьми, никак не могла подружиться ни с кем из его обитателей. Почти все они держались кучками и изнутри этих своих кучек смотрели настороженно и враждебно; она не понимала почему. А те, которые, наоборот, были открыты любому, не вызывали у нее ни малейшего желания узнать их поближе. Целительница, например, была

как раз из таких — в первом же разговоре она доверительно сообщила, что до Нэлиного возраста была самым обыкновенным человеком, а потом ее забрали на астероид и вернули через пять лет уже с теми способностями, которые имеются у нее теперь. После того первого разговора Нэла обходила ее за версту, чтобы как-нибудь не нарваться на второй.

Но сейчас из-за поворота палубы доносился явно не голос целительницы. А когда Нэла миновала этот поворот, то увидела двоих казаков. Один сидел на скрученном канате, другой на каком-то брусе, между ними было расстелено полотенце, на полотенце лежали крошечные пирожки, которые давали сегодня к ужину, стояла начатая бутылка водки и два уже наполненных стакана. Казаки сняли фуражки, в которых ходили постоянно, и стало понятно, что оба они лишь чуть старше Нэлы.

— О! — увидев ее, обрадовался тот, что был фигурой пошире. — Водку пьешь?

— Не-а, — ответила Нэла.

От вида этих крепких парней, даже от вида их водки, в которой поблескивали закатные искорки, ей почему-то стало веселее.

— Зря, — заметил второй, фигурой подлиннее и пouже. — Нехорошо трезвому с пьяными.

— Дак мы рази напиваться собираемся? — хохотнул первый. — Посидим для настроения, святое дело. Садись, не стесняйся, — кивнул он на место рядом с собой. — Тебя как звать?

Он произнес эти «дак» и «рази» без всякой нарочитости. И уходить совсем не хотелось, и одиночество как-то сразу перестало пугать…

— Нэла, — ответила она, садясь рядом с ним на брус.

— Ишь ты! — хмыкнул второй. — Еврейка, что ли?

— Почему? — удивилась Нэла.

— Имя нерусское. А евреев тут полно же, — объяснил он. — Поездка бесплатная, конечно, набежали. Любят они на дармовщинку.

— Ладно тебе, Петро, — укоризненно произнес широкий. — Жалко, что ли? Пускай плывут, ежели хотят. Батюшка говорит, апостол Павел тоже еврей был.

Нэла сразу пожалела, что присела к этому полотенцу. Она никогда не слышала, чтобы кто-нибудь рассуждал о людях вот так, отдельно от себя, будто о каких-нибудь экзотических насекомых.

— Имя у меня ничье, — зачем-то сказала она. — Родители его просто выдумали.

Она вспомнила, как папа рассказывал, что мама хотела, чтобы родился сын и можно было дать ему какое-нибудь простое русское имя, а он, наоборот, ждал дочку и хотел дать ей имя необыкновенное; почему-то всех мужчин их семьи привлекали необычные женские имена. Они долго из-за этого спорили, а потом у них родились двойняшки, и они назвали сына Ваней, а для дочки в самом деле придумали имя, какого никогда и не слышали… Это воспомина-

ние так ударило Нэле в сердце, что она чуть не заплакала. Оно совсем не соединялось с тем, что так неожиданно оказалось жизнью. Взрослой жизнью.

«Я не хочу! — вздрогнув, подумала она. — Я… Зачем я из дому уехала?!».

Взрослая жизнь расстилалась вокруг, как стремительно темнеющее море, и люди, встречающие Нэлу в этой жизни, не вызывали ни малейшей приязни.

Она поднялась, чтобы уйти, но длинный быстро схватил ее за руку, усадил обратно и сказал:

— Ну чё ты? Брезгуешь?

— Нет, — машинально ответила Нэла.

«Я совсем не умею вести себя с людьми, — подумала она. — Как же так?».

И это тоже было с ней впервые — даже слов таких, «вести себя с людьми», не бывало прежде в ее мыслях. Она просто жила, и ей было легко, и ничего не надо было рассчитывать, потому что от людей, которые ее окружали, или просто встречались ей,

или могли встретиться, невозможно было ожидать зла.

А теперь и это изменилось, и, может быть, изменилось навсегда.

Широкий взглянул на Нэлу — ей показалось, что он прочитал ее мысли, хотя это вряд ли могло быть так, он не производил впечатления проницательного человека — и протянул ей стакан с водкой, сказав:

— Давай одним духом. Я после тебя. А то посуды больше нету.

Водочный запах оказался таким едким, что, когда Нэла поднесла стакан ко рту — а зачем поднесла, пить собралась, что ли? — у нее защипало глаза. Она покачала головой и вернула стакан широкому.

— Брезгует, — усмехнулся второй, Петро. — А вот зря…

Он произнес это таким зловещим тоном, что Нэле показалось, он хочет ее ударить. Конечно, этого не могло быть, с какой стати он стал бы этого

хотеть? И все-таки в его голосе, в его взгляде исподлобья она увидела ненависть, необъяснимую ненависть к ней, к совершенно незнакомому человеку, к девчонке. Да, Нэла вдруг перестала чувствовать себя взрослой, как это было всегда, сколько она себя помнила, а поняла, что она просто беспомощная девчонка, которая непонятно почему оказалась в каком-то дальнем и укромном углу корабля наедине с пьяными — только теперь она заметила, что за скрученным канатом лежит еще одна водочная бутылка, уже пустая, — и что им, пьяным, в голову взбредет, во что выльется их непонятная к ней ненависть, предвидеть невозможно.

Нэла снова попыталась встать, но Петро держал ее за руку крепко. Свободной рукой он опрокинул в рот водку, поставил пустой стакан на полотенце, взял пирожок и, морщась, сказал с необъяснимой своей ненавистью:

— Налепили французики хрен знает чего! У нас пельмени больше, чем ихние пироги.

— Ну, вы тут отдыхайте, — сказал широкий, поднимаясь со скрученного каната. — Я пойду отолью, а то аж из ушей прет. Зря пива надулся перед водкой.

Он произнес это примирительным тоном, и именно тон особенно рассердил Нэлу. Зачем ей знать подробности физиологии этого парня, похожего то ли на сома, то ли на дыню «колхозница»?

Широкий ушел, а Петро разлил по стаканам очередную порцию водки. Для этого ему пришлось выпустить Нэлину руку из своей, и Нэла сразу же вскочила. При этом она опрокинула один из стаканов, водка вылилась ей на босоножки, а Петро громко выматерился. Не обращая на него больше внимания, Нэла перепрыгнула через брус, на котором он сидел, и бросилась бежать.

Но оказалось, напрасно она думала, что он только и способен гудеть непонятное, как камыш.

Петро не вскочил даже, а взвился в воздух и Нэлу догнал в два шага.

— К-куда?.. — прорычал он, хватая ее за плечи.

— Пусти! — Она расслышала в своем голосе слезы. — Что тебе надо от меня?

Как же глупо было воображать, что все понимаешь в жизни, потому что в десять лет прочитала «Анну Каренину» и знаешь, чем Сезанн отличается от Гогена! Собственная чудовищная глупость стала для Нэлы очевидной так мгновенно, как если бы ее ударило молнией.

— А чё ты выделываешься вообще? — Петро развернул ее лицом к себе и дохнул прямо в лицо густым водочным духом. — Типа ты вся такая, а я типа быдло?

Он сжал ее плечи так, что она вскрикнула. И наконец испугалась по-настоящему. До сих пор ей было только противно — от его хваткой руки, от мата, от того, что у него воняет изо рта, — а теперь она поняла, что он разъярен и в припадке ярости может сделать с ней что угодно, потому что чужая жизнь ничего для него не значит. Изнасиловать может и за борт бросить… И когда ее хватятся, и что толку, если потом разберутся, если его изобличат?

Она-то уже акул будет на дне кормить, или какие в Балтийском море бывают ужасные рыбы!

Нэла рванулась, уже не чувствуя даже боли от того, что он стиснул ее плечи. Но с таким же успехом она могла рваться из железных оков. Петро не выглядел сильным, но пальцы у него были именно железные.

Она судорожно вдохнула побольше воздуха — поняла, что единственно правильное сейчас это заорать во весь голос. Но он тоже сообразил, что она собирается делать, и, отпустив одно ее плечо, мгновенно зажал ей рот освободившейся рукой. Притом так зажал, чтобы она не могла его укусить; как-то очень ловко и опытно он это сделал. А чтобы она не вырвалась, прижал ее спиной к металлической лесенке. Лесенка спускалась сверху, с какого-то сооружения вроде рубки.

Ступеньки впились Нэле в позвоночник так, что, казалось, вот-вот его переломят, она не могла кричать, она задыхалась, ей было страшно… Но силь-

нее удушья и страха все-таки было другое — унижение. Никто никогда не унижал ее, тем более вот так, физически, она даже представить не могла, что это возможно, и не на войне где-нибудь, а просто на пустом месте, и чтобы так вел себя не ярый враг, а человек, о существовании которого она всего полчаса назад даже понятия не имела!

Она все-таки закричала «пусти», но вместо крика из-под ладони Петра вырвалось только мычание.

— Чего-чего? — ухмыльнулся он. — Скажи лучше: дядя, прости маленькую засранку. Поняла? Ну!

Слезы брызнули у Нэлы из глаз, она забилась, уже не чувствуя даже боли от вдавившихся в спину ступенек…

И вдруг услышала:

— Петька, ты чего? А ну пусти ее!

Голос донесся сверху, раскатом, как глас с небес. Но шел он, конечно, не с небес, и грохот, который его сопровождал, был не громом небесным.

Загрохотали ступеньки, нависла сверху тень, мелькнула над Нэлиной головой подошва ботинка, и Петро грохнулся на спину с таким звуком, как будто был набит булыжниками, а Нэла упала на него.

Сразу же, как кошка, она вскочила на ноги, отпрыгнула в сторону и увидела, что, лежа на палубе, Петро держится обеими руками за лоб и воет, а по звонкой лесенке спускается очередной неизвестный ей парень.

Никаких незнакомцев она видеть больше не хотела, поэтому, конечно, убежала бы, если бы не странность, которая с ней произошла. Странность заключалась в том, что она не могла сделать ни шагу. Впервые в жизни Нэла поняла, что слова «ноги к земле приросли» не сомнительное преувеличение, а чистая правда. Ноги у нее не подогнулись в коленях, не ослабели, а наоборот, сделались тяжелыми, как чугунные болванки, и всех ее сил было недостаточно, чтобы сдвинуть их с места.

Пока она стояла, застыв в этом неожиданном положении, события разворачивались перед ней стремительно.

Петро отнял руки ото лба, оперся о палубу и поднялся на ноги. Длинный, костистый, он был похож на весеннего медведя, голодного после спячки и потому особенно опасного. И звук, вырвавшийся из его горла, тоже напоминал медвежий рык.

— Убью-у-у! — угрожающе взревел он.

Нэла вздрогнула, хотя понятно было, что угроза относится не к ней. Угроза, ярость, ненависть — все это предназначалось теперь тому самому незнакомцу, который ударил Петра ногой в лоб и стоял перед ним, как будто ожидая, что будет происходить дальше.

На его месте Нэла ожидать ничего не стала бы, а бросилась бы бежать куда глаза глядят, потому что Петро был на голову выше и его плечи хоть и состояли, кажется, из одних только костей, но были какие-то длинные, как и руки, будто шарнирами к плечам приделанные. Руки эти вращались, как лопасти

мельниц, а незнакомец подныривал под них, чтобы они не снесли ему голову.

Да, на его месте Нэла, может, и убежала бы, но на своем… Невозможно же убежать, когда на человека, который тебя спас — непонятно от чего, но от чего-то ужасного точно, — надвигается, выкрикивая нечленораздельные угрозы, осатаневший Петро.

И не только он, как тут же выяснилось.

— Э!.. — раздалось от того места, где узкий палубный проход сворачивал за рубку, или как все-таки называлось сооружение, за которое Петро с приятелем зашли, чтобы выпить, а Нэла неизвестно зачем. — Чё у вас тут за базар?!

Широкий приятель Петра показался из-за поворота, и вид у него был теперь не дынно-рыбий, а угрожающий. Он явно настроен был не разбираться, кто прав, кто виноват и что вообще случилось, а размазать противника по палубе.

Непонятно, как Нэла это сообразила — никогда в жизни ей не приходилось оценивать намерения дерущихся людей, — однако сейчас она понимала

эти намерения так ясно, будто каждый из участников драки высказал их вслух.

Но что было толку от ее понимания? Ничего она не могла сделать и даже крикнуть не могла: не только ноги у нее стали чугунными, но и губы онемели.

Теперь уже двое надвигались на Нэлиного спасителя, и справиться с обоими он точно не смог бы.

Она смотрела на всех троих сбоку. То есть на Петра и широкого она вообще не смотрела, а вот их противника видела в последних закатных лучах ясно, как на картине.

Сначала она видела только его профиль — он был очерчен лихо, как будто прорисовала его, не отрываясь, талантливая рука. Потом он повернул голову и Нэла увидела глаза — синие, как море, только не это море, темное, стальное, а Средиземное море у греческих островов. Нэла подумала именно так, потому что морская синева возле острова Санторини — она была там с родителями и братом год

назад — произвела на нее очень сильное впечатление. И такое же сильное впечатление производил сейчас этот человек.

Стоило ей обо всем этом подумать — несколько секунд заняли ее мысли, их и мыслями невозможно было назвать, так, порывы чувств, — как он словно перехватил их в ее взгляде. Подмигнул ей ярким глазом, тут же наклонился, схватил стакан, стоящий на полотенце у его ног, и мгновенным движением плеснул водку из этого стакана прямо в лицо широкому Петрову приятелю. Тот взвыл, принялся тереть глаза — ему явно стало не до драки.

— А вот теперь давай, Петька, баш на баш! — весело крикнул парень и, в очередной раз поднырнув под длинную руку своего противника, резко ударил его кулаком под подбородок.

Клацнули зубы, раздался крик, но Нэла уже не вглядывалась в происходящее. Она схватила своего спасителя за руку и потащила за собой — прочь, прочь от места этой дурацкой битвы!

— Подожди, ты чего? — Кажется, он последовал за Нэлой только потому, что не ожидал от нее такого решительного действия. — Да ничего они тебе не сделают, не бойся!

Но она больше не собиралась это проверять. Сделают они что-то или нет, опасно оставаться рядом с ними или безопасно, что вообще произойдет дальше, — все это должно остаться в прошлом, отделиться хотя бы несколькими минутами от настоящего, и эти несколько минут надо использовать для того, чтобы убежать отсюда подальше.

Они пробежали по проходу вдоль сооружения, назначение которого Нэла так и не поняла, и выскочили на широкую часть палубы.

Здесь все выглядело так, что собственный недавний страх показался ей глупостью несусветной. Струнный ансамбль играл Шуберта, и музыка летала над волнами, как птица, люди прогуливались, девицы в кокошниках водили хоровод, пророчица с дощечкой на шее рассказывала что-то пятерым женщинам, которые рядком сидели перед ней на стульях…

— Чего ты? — удивленно повторил Нэлин спутник. — Он тебя ударил, что ли?

Она отпустила его руку, и теперь они стояли друг против друга, удивленно друг друга разглядывая. Вернее, удивлялась Нэла, у него же в глазах был только живейший интерес к происходящему.

— Не ударил, — сказала она, улыбаясь от того, каким открытым был этот его интерес. — Но испугал.

— Петька-то? — хмыкнул он. Но сразу же кивнул: — Вообще-то да, он, как выпьет, дурной становится. Потом проспится — сам не верит, что творил. А зачем ты с ними выпивать пошла?

— Еще не хватало с ними выпивать! — фыркнула Нэла.

Вот, пожалуйста, сразу же попреки начались! Сейчас еще скажет, что не надо было такую короткую юбку надевать.

Он в самом деле перевел взгляд на ее алую юбочку, сильно не достававшую до колен, но сделал это не с укоризной, а с тем же живым интересом. И

вместо того чтобы произнести какие-нибудь обиженные слова, она расхохоталась. Ее смех привел его в смущение — Нэла поняла это по тому, как он быстро провел пятерней по вихру надо лбом.

Вид у него был довольно неотесанный — такой, что Нэла должна была бы чувствовать его совершенно отдельным от себя, противоположным себе. А обстоятельства знакомства с ним и вовсе должны были бы заставить ее бояться этого вихрастого человека.

Но она не чувствовала его противоположным себе и не боялась, а совсем наоборот — такой у нее вспыхнул к нему интерес, какого не вызывал ни один парень из всех, которые обращали на нее внимание или даже признавались ей в любви; и первых, и вторых было немало.

И неожиданный этот интерес удивил Нэлу так, что она смотрела на него не отрываясь, словно было в нем что-то необыкновенное. Хотя, если судить объективно, ничего такого в нем не было. Никакой особенной красоты, не высокий, а коренастый, ей такое

сложение никогда не нравилось, черты лица тоже незатейливые, только глаза, конечно…

— Я Антон, — сказал обладатель этих феерически синих глаз. — А тебя как звать?

— Нэла.

— Ого!

— Что — ого?

— Красивое имя. Я такого и не слышал. Ты не беспокойся, правда. Серега с Петькой тебя теперь за километр обходить будут.

— Тебя, что ли, побоятся? — фыркнула она.

— Не, есаула. Побоятся, ты ему скажешь, что они водку пили. У них насчет этого строго.

— У кого это у них?

— У казаков. Для них тут сухой закон, им даже пива не продают.

— А где же они тогда водку взяли? — спросила Нэла. — И пиво этот Серега тоже пил, — вспомнила она.

— Попросили кого-нибудь, им и купили. Да ладно, забудь! Пошли лучше тоже чего-нибудь купим, — предложил он.

— Водки? — хмыкнула она.

— Поесть. У меня кузьминки еще остались.

Кузьминками — в честь руководителя Культурной миссии, фамилия которого была Кузьмин, — назывались бумажки, которые здесь считались деньгами, ими можно было расплачиваться в двух корабельных магазинах. В одном магазине продавалась всякая ерунда вроде фонариков, тапок, шампуня и прочего подобного, а в другом еда. Кузьминки всем выдали при посадке, у Нэлы они тоже были, но она ничего на них не покупала.

— Поесть? — удивилась она. — А ты разве не ужинал?

— Так когда это было! Проголодался уже.

В Нэлином представлении ужин был совсем недавно, и нисколько она, конечно, не проголодалась. Но раз человек хочет…

— Пойдем, — кивнула она. — Купим поесть.

По дороге к продуктовому магазину Нэла забежала в свою каюту за кузьминками и обнаружила, что их у нее много. Это оказалось кстати: тех, что были у Антона, хватило только на один сэндвич с сыром, а она купила два, с ветчиной и с рыбой, и колбасу еще, и литр ряженки. Все это Нэла отдала Антону, уверив его, что совсем не голодная, и она в самом деле была не голодная, но это ее не удивляло, потому что она и дома ела как птичка, а вот то, что ей нравится смотреть, с каким аппетитом ест он, удивляло очень, потому что никогда прежде она даже внимания не обращала, кто как ест и ест ли вообще.

— А ты на корабле что делаешь? — спросил Антон, доев сэндвичи и распечатывая пакет с ряженкой. — Танцуешь?

— Не-а! — засмеялась Нэла. — Почему ты решил?

— Ну, такая потому что… Похожа на танцорку.

Она сказала бы, что он произнес это с оттенком смущения, если бы по всему его лихому облику

можно было предположить, что он способен смущаться.

— Меня сюда родители пристроили, — сказала Нэла. — Они думали, что здесь будут какие-то необыкновенные люди.

— А здесь обыкновенные?

Вчера или даже час назад она ответила бы, что самые обыкновенные. Потому что дощечка с нарисованной женщиной и шаровары с лампасами совсем не казались ей чем-то выдающимся, и даже наоборот, она догадывалась, что такие вещи привлекают как раз тех, кто испытывает необходимость скрыть за ними собственную заурядность.

Да, час назад она так и сказала бы Антону. Но теперь назвать всех обитателей корабля обыкновенными было бы с ее стороны неправдой. Как раз он и оказался для нее человеком невиданным, потому что никто никогда не защищал ее от опасности, да еще с такой удалью.

Но не скажешь же ему такое! Нэла смутилась. К счастью, Антон не догадался о настоящей причине ее смущения.

— Стесняешься, что родители пристроили? — спросил он. — Да ну, брось! Меня тоже дядька сюда пристроил, что такого.

— А кто твой дядька? — обрадовавшись, что разговор таким естественным образом переключился с нее на него, спросила Нэла.

— Тоже вроде казака. — Антон улыбнулся. — Ты не думай, он нормальный, без штанов. В смысле, в штанах нормальных.

— А как это, что он вроде казака?

— Ну, он из Романова, город такой в Липецкой области. Их казаками вроде не считают. Но если разобраться, они казаки и есть.

— Ты из Липецкой области?

— Я из Нефтеюганска. Отец был из Романова, дядька и сейчас там живет. А я вообще не бывал.

— Тебя тоже людей посмотреть сюда пристроили?

— Нет. Мне в Гамбург надо. А тут бесплатно вышло добраться.

— А зачем тебе в Гамбург? — с интересом спросила Нэла.

Все-таки необычная вокруг него образовывалась география: Нефтеюганск, Романов какой-то, теперь вот Гамбург еще.

— Учиться, — ответил он. — Там университет есть, на экономику пойду.

— Тебе экономика нравится? — удивилась Нэла.

В ее представлении экономика была если не совсем скучной наукой — хотя ей самой вообще-то казалось, что совсем, — то все-таки не слишком подходящей для такого человека, как Антон. Хотя какого — такого? Ведь она его совсем не знает.

— Сейчас не до того, чтобы нравилось, — усмехнулся он.

— А до чего?

— Надо деньги учиться делать.

Такое назначение учебы показалось Нэле странным, но возражать она не стала, а спросила:

— Ты немецкий знаешь?

— Не, — помотал головой Антон.

— Ну да! — поразилась она. — Как же ты в Германии учиться собираешься?

— На месте разберусь.

Он и правда был необыкновенный, это ей не показалось. И бесстрашие, похоже, предназначалась у него не только для драки — он умел не думать о последствиях, вот что в нем было. Ни на секунду не задумался ведь о том, что ему придется много дней жить бок о бок с человеком, которого он так лихо побил, и как этот человек себя поведет, вдруг мстить станет? И о том, как будет жить, да еще и учиться в Германии, не зная языка, не думает тоже, а вернее, не боится ничего с этим связанного. Никогда Нэла таких не видела, никого такого не знала!

А вообще-то она не знала ведь ни одного своего ровесника, который был бы не из Москвы или Петербурга. Была немного знакома с Таней Алифановой, та приехала из городка Болхова Орловской области и случайно оказалась в левертовском доме,

немного — со школьниками из Лилля и из Лондона, с которыми практиковалась во французском и английском, когда те приезжали по школьному обмену в Москву. Но чтобы близко…

«А с ним я разве близко?» — подумала Нэла.

И сразу же сама себе ответила: «Да!».

И сразу ей стало радостно, и сразу она смутилась так, что даже в носу защекотало.

Она чувствовала близким себе человека, с которым у нее не было и быть не могло ничего общего. Ей нравилось смотреть, как он ест. Ей хотелось расспрашивать его, что за город этот Романов и почему он живет в Нефтеюганске. Ей совсем не хотелось с ним расставаться, хотя уже наступила ночь и море, на которое они смотрели, стоя у борта, расстилалось перед ними пугающей темной бездной. Впрочем, морская бездна не казалась ей пугающей, и корабль больше не выглядел сумасшедшим.

Читая книжки про любовь, Нэла всегда думала: а как их герои догадываются, что влюбились?

Именно книжки вызывали у нее такую мысль, потому что когда про свою влюбленность говорили подружки, Нэла считала, они просто выдумывают, чтобы поинтересничать друг перед другом. А в книгах огромной гербольдовской библиотеки было про настоящую любовь, это она понимала. Но вот как настоящую любовь распознают, понять не могла даже из самых лучших книг.

И вдруг это стало ей понятно само собой, без единого слова, и в ту минуту, когда она этого совсем не ожидала, и по отношению к человеку, с которым ей даже в голову не пришло бы это связать. Какие неожиданные штуки вытворяет жизнь!

Глава 5

Неизвестно, начал ли ее бывший муж разбираться в архитектуре, но место для своего бюро он выбрал со вкусом. Или не красотой здания руководствовался при выборе, а только стоимостью аренды, или еще какой-нибудь причиной, ко вкусу не имеющей отношения? Впрочем, вкус к жизни у него был всегда, и даже слишком ярко выраженный.

Как бы там ни было, огороженная территория, которая называлась бизнес-парком, очень Нэле понравилось. О русской промышленной архитектуре эпохи модерна она делала когда-то сюжет для телеканала «Арте», поэтому красота зданий из каленого красного кирпича, гармоничных лужаек перед ними и высоких металлических лестниц, которые их опоясывали, была понятна не только взгляду ее, но и разуму.

— Что здесь раньше было? — спросила она, стоя у окна в Антоновом кабинете.

Из него была видна река и Луженецкая набережная, и смотреть в окно было поэтому приятно.

— Да завод какой-то, — ответил он. — Если хочешь, узнаю.

— Я и сама узнаю, — улыбнулась Нэла.

Нет, не произошло в нем перемен. Работать в красивейшем месте Москвы, каждый день входить в здание, которое построено сто лет назад, даже не поинтересоваться, что за здание такое, потому что это не имеет отношения к делу, и руководить при том архитектурным бюро, — все это было очень в его духе.

Радоваться его неизменности или печалиться, было Нэле пока непонятно.

Кабинет Антона всем своим видом свидетельствовал о том, что профессия у хозяина современная и респектабельная. Это ощущение не возникало из-за невнятной дороговизны, а складывалось из множества выразительных деталей.

На маленьком высоком столике стоял деревянный многогранник — из дубового дерева, как Нэла на взгляд определила, — на нем деревянная же вазочка, из которой торчали острые зеленые тра-

винки. В ту минуту как Нэла взглянула на нее, вазочка вдруг оторвалась от многогранника и стала медленно крутиться в нескольких сантиметрах над ним.

— Завораживает, да? — сказал Антон, заметив, что эта загадочная левитация привлекла Нэлино внимание. — Электромагнит включается, полюса отталкиваются — и пожалуйста. Травка эта тоже странная, не из земли питание берет, а из воздуха.

— Как из воздуха? — удивилась Нэла.

— Да черт ее знает. Корней, во всяком случае, у нее нет, земля ей не нужна. Даже воду наливать не надо, иногда опрыскивать только.

Впрочем, и это не свидетельствовало о том, что Антон переменился. Ему всегда было интересно необычное, так что левитирующая трава скорее была подтверждением такого интереса, чем неожиданной потребности в стильном интерьере. Да и вряд ли он сам интерьером своего кабинета занимался, наверняка специально обученные люди.

— Хорошо у тебя, — сказала Нэла.

— Правда? — обрадовался Антон. И неожиданно добавил: — Я, знаешь… Когда офис искал, то все время думал, понравится тебе или нет. Можешь не верить, но так.

Не было причин ему не верить. Но что ответить на его слова, Нэла так пока и не понимала.

— Чем же твое бюро занимается? — спросила она. — Чем заказчиков привлекаешь?

— Правильно мыслишь. — Антон посмотрел на нее с удивленным уважением. — Уникальное предложение требуется, да. Мы советские здания реконструируем, довоенные. А их же полна Москва, так что без работы не сидим. Первый наш проект. — Он кивнул на большую фотографию, висящую над его столом. — Фабрика-кухня была. Я когда впервые ее увидел, чуть не заплакал, ей-богу.

— Почему? — улыбнулась Нэла.

— Родину вспомнил.

— В Нефтеюганске такие дома были? — разглядывая здание на фотографии, спросила она. — Странно.

— Не было, конечно. Для Нефтеюганска и такое роскошь. Но все равно — стены желтые были, облупленные, сбоку лестница, такая, знаешь, вот-вот развалится… Родина, короче, без слез не взглянешь. А мы из нее вон что сделали.

Здание на фотографии действительно не вызывало слез. Оно смотрело на мир огромными, ритмично расположенными окнами со стальной окантовкой, стены были выкрашены в благородный зеленоватый цвет, наружная лестница вовсе не собиралась разваливаться, а наоборот, придавала его очертаниям ту мощную и гармоничную прагматику, которая составляла самую суть конструктивизма.

— Нравится? — спросил Антон.

— Да, — кивнула Нэла. — У тебя и правда талантливые люди работают.

— А я тебе вообще не… вру.

Она догадалась, что он хотел сказать, и поняла, почему не сказал. Хотел сказать «я тебе никогда не врал», но сказал «не вру», потому что как раз врал ей, а теперь думает, что это осталось в прошлом, но так это или нет, никому не известно, в том числе и

ему самому, просто он всегда был подвержен иллюзии, будто то, что он чувствует сейчас, останется неизменным вечно.

А для нее эта иллюзия закончилась вместе с юностью, и поэтому она не может ответить ему так, как он, наверное, ожидает.

Нэла пришла к Антону, когда рабочий день, даже долгий, уже должен был закончиться. Ей не хотелось влиять на его планы и ни с кем в его бюро не хотелось пока знакомиться. Как он станет ее представлять? Он любит торопить события, а сейчас это совсем не нужно.

И теперь, глядя в окно, как вечер — июньский, ясный — окутывает город, золотом пронизывает реку, Нэла поймала себя на том, что через этот вечерний вид пытается воспроизвести чувство, которым была охвачена в тот вечер, когда они стояли у борта корабля, идущего по Балтике, Антон допивал ряженку, а она смотрела то на море, открыто, то на него, украдкой, и понимала, что влюбилась с пер-

вого взгляда, как Джульетта, хотя и непонятно, Ромео ли перед ней, и что это чувство действительно ни с каким другим не перепутаешь.

Но можно ли повторить его в себе после того как оно ушло, и надо ли его повторять или лучше понять, что и без него можно обходиться, в повседневной жизни уж точно? Она не знала.

— Я в офисе не каждый день бываю, так что работать можешь прямо в этом кабинете, — сказал Антон.

— Я еще не… — начала было Нэла.

— Сначала, конечно, в курс войти надо, — быстро перебил он. — Что мы делаем, что собираемся делать.

Он хотел, чтобы решение уже было ею принято. Он так этого хотел, что даже не считал нужным скрывать. И это было так странно, что Нэла не находила ответных слов, потому что не понимала причину неожиданного его к ней порыва. Как будто не было времени, когда они не виделись, как будто расстались друзьями и поддерживали добрые отноше-

ния, а не отшатнулись друг от друга, как будто нынешний ее приезд к нему был чем-то само собой разумеющимся…

Но ведь так не бывает, чтобы воспоминания о чувствах стали самими чувствами по одному только желанию, к тому же не обоюдному.

— Прямо сейчас в курс входить? — усмешкой скрывая свое недоумение, поинтересовалась она.

— Можешь и сейчас, — кивнул Антон. — Но вообще-то не к спеху. Сейчас можно и поужинать.

Опять в ресторан! Опять будет демонстрировать непринужденность, говорить о пустяках и налаживать отношения, как по учебнику прикладной психологии. Зачем это ей, зачем ему?

— Я к еде равнодушна, ты прекрасно знаешь, — резко проговорила Нэла. — Это не изменилось.

И сразу же ей стало его жалко. Он не столько расстроился, сколько растерялся, потому что не знал, что еще ей предложить. Да и кто бы знал? В ресторан же большей частью для того мужчина и зовет женщину, чтобы был повод провести вместе несколько часов, и не дети же они, чтобы Антон стал ее звать для этого на качели в Парк Горького!

«Мы ходим какими-то бессмысленными кругами, — подумала Нэла. — Примериваемся друг к другу, присматриваемся, переменились ли, взвешиваем слова, рассчитываем будущее… И ни к чему все это не ведет, только в тупик заводит. Сама виновата. Неприкаянности своей не выдержала — и пожалуйста, попала в бессмысленную, патовую ситуацию. Дура!».

Солнце ушло за край окна, кабинет погружался в сумрак, и глаза Антона стали в этом сумраке как глубина морская.

«Оказалась я между дьяволом и глубоким синим морем», — мелькнуло у Нэлы в голове.

Совершенно не к смыслу мелькнуло: английский фразеологизм — «между двух зол» называлось это по-русски — описывал безвыходную ситуацию, а в нынешней ситуации ничего безвыходного не было. Надо было просто признаться себе, что не вышло толку из ее умозрительных планов, проститься и уйти.

— Нэл, — сказал Антон, — поедем ко мне, а? Ну что нам кругами ходить?

И прежде чем она что-то сказала — а что хотела ему сказать? забыла! — он обошел столик с левитирующей травой и взял Нэлу за плечи. Руки у него были такие горячие, что она почувствовала это сквозь батист блузки, а лицо — бледное, как от холода.

— Пойдем, — повторил он. — Прости меня.

Он всегда умел отдаваться своей искренности безоглядно, с полной силой. И всегда это Нэлу поражало, и сейчас, глядя на его бледное лицо с потемневшими глазами, она поняла, что власть, которую его искренность имела над ними обоими, не ослабела с годами.

Она быстро коснулась виском его виска и, не высвобождаясь из его рук, сделала шаг к дверям, едва ощутимый, но он почувствовал ее движение, конечно, и радость осветила его лицо.

Уже в дверях Нэла оглянулась. Прекрасный вечерний свет падал на фотографию, совершенное здание смотрело с нее всеми огромными окнами, и живая сила этого взгляда поразила ее.

Глава 6

— Я не думала, что ты здесь поселишься, — сказала Нэла.

— А я думал.

Машина въехала во двор, опустился за ней шлагбаум. Высокий, этажей в двадцать, узкий дом торчал посреди просторного двора, как клык какого-то гигантского существа, но не вымершего, а наоборот, набирающего силу.

Въехали в подземный гараж, свернули, повернули, остановились, вышли из машины, вошли в лифт, поднялись на какой-то высокий этаж. В металлической коробочке лифта волнение Антона чувствовалось как электричество в предгрозовом воздухе, и так же, как грозовое электричество, тревожило и будоражило Нэлу.

Вошли в квартиру, из прихожей — в большую комнату с карамельными стенами.

— Ну вот, — сказал Антон. — Здесь живу.

Нэла молчала. Цвет у стен ужасный, но это не важно. Что еще есть в этой комнате, кроме стен —

мебель, лампы — она не видела. Или просто не могла на них сосредоточиться.

Надо взять себя в руки, направить внимание на что-нибудь выразительное, это всегда помогало.

Окно было большое, на всю стену. Нэла подошла к нему. Антон молча стоял посередине комнаты.

Панорама, открывающаяся из окна, захватывала поселок Сокол — его сады, зеленую толпу деревьев, среди которых виднелись покатые крыши невысоких домов.

— Я не думала, что ты поселишься здесь, — повторила Нэла.

— А я именно здесь и хотел.

Антон шагнул неслышно, но она почувствовала, что он уже стоит совсем близко у нее за спиной.

— Почему? — не оборачиваясь, спросила она.

— Объяснение глупое.

— А то ты все от большого ума всегда делал!

«Да и я тоже».

— Думал: если ты в Москву приедешь, в это окно тебя увижу.

— Врешь.

— Ну, немного. В смысле, не то чтобы думал, а так… мелькнуло.

Он положил руки ей на плечи. Жар в них не угас. Она повернулась к нему. Или сам он повернул ее к себе? Это уже не имело значения. Они смотрели друг другу в глаза, и Нэла чувствовала, что ее глаза блестят тем же волнением, которое она видит прямо перед собою. Но ей не пришлось долго вглядываться в блеск его глаз — Антон поцеловал ее.

«Не изменилось и это», — успела она подумать за те секунды, пока сильный разряд разлетался по всему ее телу, от губ до макушки и пяток.

Наверное, далее должно было бы следовать полное исчезновение мыслей в волнах страсти, но вместо этого последовал смех — Нэла не смогла его сдержать.

— Я и сама до кровати дойду! — Она попыталась снова встать на пол. — Незачем надрываться, Антон!

— Да с чего тут надрываться, ты ж как спичка. Какая была, такая и осталась.

— Ты тоже. Не можешь без спецэффектов. Не удивлюсь, если в ванну налито шампанское.

— Не налито. — Он все-таки смутился от Нэлиных слов — или рассердился, может? — и поставил ее на пол. — Но могу налить.

— Не надо. — Она быстро поцеловала его в нахмуренный лоб. — Пойдем.

В спальне стены были уже чистым кошмаром — цвета раздавленной земляники, чуть приглушенного лишь потому, что шторы почти не пропускали вечернего света. Но вот тут уже все Нэлины мысли действительно исчезли — превратились в дыхание. И в прерывистом этом дыхании она успевала только отвечать на Антоновы поцелуи.

Кровать занимала полкомнаты — он сбросил покрывало на пол и так же быстро стал бросать на пол одежду, которую снимал с себя. Нэла не отводила от него взгляда и поняла, что сама в это время раздевалась тоже, только когда Антон лег на кровать. Он смотрел на нее, не произнося ни слова — похоже, до сих пор не верил, что она ляжет с ним.

Нэла завороженно смотрела, как поблескивают его глаза в сумраке. Очертания его тела завораживали ее не меньше, чем этот блеск.

Когда-то она теряла разум не то что от его прикосновения — от одного вида его голых плеч. Потом обида это перекрыла, потом и обида прошла — все растворилось в обыденном течении жизни. Как будет теперь, Нэла не знала. Но как бы ни было, понять это можно только… Она легла рядом с Антоном, перевернулась на живот, оперлась подбородком на руки, чтобы видеть его прямо перед собою. Он взял ее под мышки, притянул, положил на себя. Нэла почувствовала, что одновременно соприкасаются и пальцы их ног, и губы, и вся она соприкасается поэтому с ним, каждой клеткой кожи.

— Хорошо, что мы с тобой одного роста, — прямо в его губы сказала она.

— Да, удобно.

Он произнес это ровно, почти с усмешкой, но тут же, почувствовав, как раздвигаются ее ноги, вздрогнул и вскрикнул, как от боли. Она испугалась бы даже, если бы не знала и дрожи этой, и вскрика.

Нэла обняла его — плечи, ноги, всего его обняла всем своим телом — и сразу поняла, что он даже не вспомнил ее тело, а соединился с ним так, как соединяются части замысловатой головоломки: крутит-вертит ее кто-то неумелый, ничего у него не получается, и вдруг делает верное движение, и беспорядочные выступы и вырезы совпадают, и непонятно, как же сразу не получилось, ведь это так просто, ведь единственно возможное…

Долго же крутил-вертел ее тот неумелый кто-то! А зачем? Неизвестно.

Но известно, что мужчина, с которым жизнь свела ее снова — ну или сама она подтолкнула к нему свою жизнь, — подходит ко всем впадинам и выступам ее тела так, как не подходит никто. Что уж там дальше будет, это опять-таки неизвестно, но сейчас, на кровати, волнующейся под ними, как море, в сумраке, который все больше скрывает все внешнее, делает невидимым и цвет стен, и морщинки у ее губ, — сейчас они слились и сплелись в

том самозабвении, в котором верно каждое движение, и каждый поцелуй, и каждая отрывистая, не имеющая ни начала, ни конца фраза.

— Побудь… так побудь… милая…

— Да… да!

Антон приподнял Нэлу и, касаясь ее груди то легко, то почти грубо, помогал ее движениям, потом вдруг вскинулся, обнял ее так, что кости хрустнули, перевернулся — и соединение их, общее их движение продолжалось уже по-другому, но с прежней сладостью, не с той сладостью, которую чувствуешь рецепторами, как конфету, а с той, которую Суламифь как песнь чувствовала с царем Соломоном.

Не были похожи на песнь их голоса в ту минуту, когда невозможно уже стало длить все это дольше. И все-таки путь от той давней песни к происходящему с ними сейчас был прямой.

В комнате стало уже совсем темно. Потолок с миражными пульсирующими пятнами плыл перед Нэлиными глазами, потому что у нее кружилась голова. Голова лежала на сгибе Антонова локтя, и

если бы Нэла не чувствовала затылком этот сгиб, то, пожалуй, и сознание потеряла бы.

— Нэлка, как же я рад, что ты ко мне вернулась.

Голос у него был хриплый, будто он сорвал его. А и сорвал, может. Ни собою он не управлял всего пять минут назад, ни тем более своим голосом.

Нэла не знала, что сказать на его слова. Тело ее вернулось к нему точно, в этом она убедилась, только ведь жизнь больше, чем тело…

Но говорить об этом вслух было бы такой же невыносимой пошлостью, как рассуждать о том, что такое любовь. Ей было неловко уже от того, что мелькнула в голове «Песнь песней»; это было явным преувеличением для секса. Поэтому она молчала. Да и он ведь о любви не заговаривал — только о практической плоскости отношений: хорошо, что вернулась. Что ему было хорошо, не вызывало сомнений: пот поблескивал на его груди, на плечах крупными каплями, и во всем теле чувствовалась блаженная усталость.

Пятна у Нэлы перед глазами погасли, голова наконец перестала кружиться. Осталось круженье в каждой клетке тела, но это было приятно. Скосив взгляд, Нэла посмотрела на Антона. Лицо его было где-то над ней, но тело она видела ясно. И видела таким же, каким только что почувствовала в себе — не изменившимся.

Когда он впервые разделся перед ней, ее поразило, что она не знает его даже внешне. В одежде он выглядел крепким и коренастым, ей не нравилось такое сложение, но без одежды вдруг оказалось, что оно точно как у юного Давида. Нэла поняла это потому, что как раз перед той встречей с Антоном съездила в Рим и увидела настоящего Давида, микеланджеловского, а не гигантскую копию в Итальянском дворике Пушкинского музея. «Если бы Давида одеть в джинсы и футболку, он был бы точно такой, как ты», — сказала она той ночью, а Антон не понял даже, о ком это она, но им обоим это было той ночью неважно.

— Ужасные у тебя здесь стены, — сказала она. — Чувствуешь себя мухой в банке с вареньем. И зачем тебе столько кресел в гостиной? Кинотеатр какой-то.

Глубокие кожаные кресла, приставленные друг к другу, образовывали что-то вроде длинного дивана, он стоял в соседней комнате вдоль стены перед огромным телевизором; Нэла вспомнила это только теперь. Она была приметлива, но, когда вошла с Антоном в его квартиру, все словно выключилось в ней, и приметливость тоже. А теперь вот всплыло в памяти то, что полчаса назад безотчетно в ней отпечаталось.

— Да, та еще обстановочка. — Антон кивнул, это движение отдалось в его руке и сразу же — во всем Нэлином теле, напомнило о том, чего ее тело теперь, отдыхая, уже хотело снова. — Но я же эту квартиру только что купил, с мебелью, даже с чашками-ложками.

— Ой, а я к этому так и не привыкла!

— К чему?

— К чужим вещам, к посуде, которой чужие люди пользовались. Постоянно ведь квартиры меняю, всегда они с мебелью, бывает, что и с посудой тоже, но как-то мне…

Она хотела сказать, что ей от этого до сих пор как-то не по себе, что это нагоняет на нее уныние… Но не сказала. Незачем ему знать, как тяжела ей стала неприкаянность.

— Нет, здесь все новое было, — сказал Антон. — Чистое, вообще не тронутое.

— Разве в Москве посуду вместе с квартирами продают? — не поняла Нэла.

Все-таки она бывала в Москве хоть и часто, но коротко, да и не интересовалась такими вещами.

— А эту не собирались продавать. Для себя обставлялись. Сейчас под Москвой целые поселки такие стоят, — сказал Антон. — Я на сайте продаж включал просмотры — аж жутковато. То ли заколдованное царство, то ли нейтронная бомба упала.

— Почему?

Он не ответил. Но она уже и сама догадалась: люди строили дома, готовились в них жить, а потом поняли, что надо уезжать.

— Так что квартира мне недорого досталась, — словно догадавшись о ее догадке, сказал Антон. И, помолчав, неожиданно добавил: — Знаешь, как я понял, что хочу с тобой встретиться?

— Ну, как?

Нэла повернулась на бок, чтобы видеть его лицо. Оно было отчасти довольное, отчасти усталое, отчасти непонятное, и только теперь, вглядываясь в это сложное соединение чувств на его лице, она поняла, что изменилось в нем за те годы, когда они не виделись: простоватость, которая так явственна была в молодости, исчезла совсем, и оказалось, что она не была неотъемлемой приметой его внешности, а скорее искажала его черты. Что-то, что Нэла назвала бы печалью, высветило их теперь, прояснило.

— Сидел в лобби возле бара, вдруг вижу, женщина входит, — сказал Антон. — Через стеклянную дверь крутящуюся, медленно, можно разглядеть. И

точно — ты. Меня аж в пот шибануло, руки затряслись, чуть рюмку не выронил.

— Красивая женщина?

Нэла еле сдержала улыбку.

— Обыкновенная.

Тут уж она сдержаться не могла, затряслась от смеха. Что лучше бы ответить «красивая», раз уж назвал женщину похожей на нее — нет, о таком ему не догадаться!

— Она тоже к бару подошла, взяла коктейль. — Наверное, Антон волновался; во всяком случае, на Нэлин смех внимания не обратил. — Я на нее пялился как последний идиот. Или как шпион перед вербовкой — изучал. Все твое, глаза такие точно, до висков… Прическа даже. Не такая, как сейчас, а как на корабле тогда — хвост вверх, как у морковки. Я к ней подошел.

— Кто бы сомневался!

— Подошел, поговорил. Так, о ерунде какой-то, просто чтобы голос услышать. Это не ты была, конечно, — уточнил он.

— Я догадалась.

— И вообще… В общем, совсем не ты. Поболтали, и она к себе в номер ушла.

— А ты взял еще коньяка.

— Не помню, что взял. Но тогда и понял…

Он тоже повернулся на бок и посмотрел на Нэлу уже не искоса, а в упор, с тем же тревожным блеском, который был в его глазах, когда он звал ее пойти с ним сюда, и который, ей казалось, исчез, когда они лежали рядом, отдыхая. Но нет, не исчезло его волнение, даже усилилось.

— Что ты понял, Тоник? — тихо проговорила Нэла.

Она сама придумала так его называть, его сердило это прозвище, а она считала, очень даже подходит — от слова тонизировать.

— Что ты мне не безразлична, скажем так. Хотя тебя, если честно, у меня даже в мыслях до того момента не было. А после того я о тебе начал думать. Ну и… Это на Карибах было, — оборвал он себя. — На яхте ходил между островами.

— Я была на Карибах, — сказала Нэла. — Там франжипани растет. Маленькое такое деревце, запах нежный, бело-золотые цветы. Его еще плюмерия называют. Или лилавади.

— Сама ты лилавади! — Он согнул руку, и, мгновенно притянувшись от этого к нему, Нэла ткнулась носом в его губы. — Что у тебя в голове, Нэлка, один черт знает!

Они принялись целоваться, и желание охватило их снова.

— Неужели ты к той женщине в номер не поднялся? — зачем-то стараясь одолеть свое желание, спросила Нэла. — Не верю.

— Да ничего же она не значит, Нэл.

— А что — значит?

— Я об нее запнулся просто, и о тебе поэтому начал думать, и… Все после того вернулось, вот что.

Глава 7

Когда Нэла вошла в дом, родители уже были одеты в дорогу и мама укладывала последние мелочи в сумку, предназначенную для ручной клади.

— Дочь, ну нельзя же так! — укоризненно воскликнул папа. — Где ты ходишь на ночь глядя? На год ведь уезжаем. Уже подумали, что и не простимся с тобой.

Нэла только теперь сообразила, что надо было позвонить, предупредить родителей, что она придет их проводить. Правда, еще полчаса назад она не была уверена, что придет, вернее, только чудом вспомнила, что ночью они улетают. Как-то чересчур ее тонизировал секс с бывшим мужем, все в голове перевернулось.

— Я вообще подумала, что ты и сама уже обратно улетела, может быть, — сказала мама.

— Я не улетела, — ответила Нэла. — Я здесь пока поживу… наверное. Мне работу интересную предлагают, — поспешно добавила она.

— Ты увиделась с Антоном, — то ли спрашивая, то ли утверждая и не отрываясь при этом от возни с заевшей молнией на сумке, сказала мама.

— Ну… да. Как ты догадалась?

— По твоему смятенному виду.

— Это плохо, что увиделась? — почти жалобно спросила Нэла.

— Я считала бы это нейтральным событием. Просто фактом действительности. Во всяком случае, пока это не начало корежить твою жизнь.

— А что плохого, если и увиделась? — удивился папа. — Расходятся люди, бывает. Но нормальные-то человеческие отношения почему не сохранить? А к Антону я всегда хорошо относился.

Нэла вспомнила, как бурно возмущался папа, когда она сообщила о своем замужестве, и улыбнулась.

— Я просто был против того, чтобы ты в восемнадцать лет выскакивала замуж, — заметив ее улыбку, уточнил он. — И скажи теперь, что я был не прав.

— Не скажу, — снова улыбнулась Нэла.

— А сам по себе Антон никогда не был мне чужд, — добавил папа.

— Это потому что вам обоим нравится один и тот же женский тип, — заметила мама.

— Это какой же? — заинтересовалась Нэла.

— Не то чтобы совсем экзотический, но с ноткой нетривиальности, — пояснила та.

Нэла вспомнила, как папа однажды написал мамин портрет и мама сказала, что у него получилась иллюстрация к Мандельштаму: «Там девушки стареющие в челках придумывают странные наряды».

Мама как раз и была такой девушкой. Даже сейчас, дома, на ее плечи был наброшен расшитый серебряными нитями оливковый палантин, а в волосах была заколка в форме звезды с зеленоватыми кристаллами. Заколку эту Нэла помнила с детства — она разглядывала ее перед сном, а мама рассказывала, что кристаллы называются аврора бореалис, это значит северное сияние, еще так называют духов, путешествующих по небу, или искры, высекаемые хвостом лисицы, которая танцует в ночной

тьме, или отблески от щитов валькирий… «Кто такие валькирии?» — спрашивала Нэла — и засыпала.

— Любовь к необычным женщинам — это не мое личное, а семейная традиция, — усмехнулся папа. — С моей стороны было бы даже неприлично ее нарушить.

— Какая традиция? — не поняла Нэла.

— Полистай семейные альбомы, сама увидишь, — пожала плечами мама.

— Альбомы потом полистаете. — Ваня вошел в комнату и кивнул на напольные часы; они в ту же минуту начали бить. — А сейчас поехали уже, не хватало только на рейс опоздать.

Он взял один чемодан, папа другой, мама посмотрела в зеркало на дорогу, вынула из волос заколку, перекинула через плечо длинный ремень дорожной сумки.

— Как отопление включается, помнишь? — спросил у Нэлы папа. — Ну, Ивана зови, если не разберешься.

— Вряд ли ей летом отопление понадобится.

В мамином голосе прозвучал вопрос: а останешься ли ты здесь до холодов?

Нэла не ответила — сама этого не знала.

Она проводила родителей до калитки и смотрела вслед, пока Ванина машина не скрылась за поворотом улицы, потом вернулась в дом. Она всю жизнь куда-нибудь уезжала, и любая перемена была для нее поэтому так же привычна, как одиночество, а если она чувствовала от того или другого печаль, то знала, как ее преодолевать. Простые приемы для этого знала.

Нынешняя ее печаль вряд ли была связана с отъездом родителей, все-таки Нэла жила отдельно от них уже дольше, чем вместе с ними, а теперь и всяческие способы общения, с каждым днем новые, позволяли не прерываться тем связям, которые не основаны на физическом соприкосновении.

От этих промелькнувших в сознании слов Нэла вздрогнула — прикосновения Антоновых рук и губ сразу же вспыхнули на ее губах, плечах. Такую связь, что и говорить, скайпом не заменишь. И что с этим

теперь делать? Что делать с искрами, которые бегут по нервам, буквально по периферической нервной системе, просто от того, что некстати вспоминается сгиб его локтя, и плечи, и… Нэла покрутила головой, отгоняя физиологическое наваждение, и поскорее взяла с ломберного столика альбом, который мельком пролистывала два дня назад.

Пропастью казались теперь эти два дня — Нэла видела фотографии словно впервые. Впрочем, это было даже кстати: проще разбудить в себе интерес к новому, чем к привычному, а ей сейчас хотелось интереса к чему-нибудь внешнему, от нее отдельному, это было ей необходимо.

Да она и вообще не очень-то знала те семейные подробности, которые так милы бывают многим: кто на ком женился сто лет назад, кто где учился, кто какую сделал карьеру и кого родил. Она уехала из дому в том возрасте, когда собственное настоящее и будущее так огромно и требует таких усилий, что прошлое, даже свое, а уж тем более семейное, отходит на двадцать пятый план жизни.

Не то чтобы семейные фотографии возымели для нее какое-то особенное значение теперь, но они годились для того, чтобы отвлечь от тревожащих размышлений.

Судя по фотографиям, прадед Леонид Федорович Гербольд был из тех мужчин, которые делаются интереснее с годами. Но и в молодости он был хорош, это Нэла поняла по первому же снимку. Выпуск ВХУТЕМАСа, 1925 год, он стоит во втором ряду, потому что высокий, и не замечает, что девушка, стоящая впереди и слева, вместо того чтобы смотреть в объектив, запечатлеваясь для истории, оглядывается на него с таким выражением, которое не оставляет сомнений: влюблена по уши, даже скрыть этого не пытается, и до истории ей никакого дела нет. Пастельная девушка, нежная, вот кто франжипани-лилавади, а не Нэла с ее графическими чертами.

По высокому росту она узнала Леонида Федоровича не только возле здания ВХУТЕМАСа на Рождественке, но и на следующей фотографии, хотя там он был снят издалека и фотографировали явно не его,

а общую панораму. Сначала ей показалось, что это просто огромное поле в рытвинах и ямах, но потом она узнала два дома, которые называли сторожевыми башнями, и поняла, что это их Сокол. Ну конечно, поселок еще только строится, и Леонид Федорович, стоя в грязи, окапывает пень, который торчит посреди будущей улицы.

«Неплохо однако зарабатывал начинающий архитектор, — подумала Нэла. — Два года как диплом получил, а уже дом себе мог позволить».

Папа водил их с Ванькой в музей Сокола, и из того, что он тогда рассказывал, она запомнила, что взнос на строительство делался в золотых червонцах. Они с Ванькой спорили, дороже ли был золотой червонец, чем обыкновенный, потом спросили у папы, и тот сказал, что дороже и что простой рабочий себе такого позволить не мог, да и не получил бы рабочий на это разрешения, потому что поселок строился для красной профессуры, партийных деятелей, инженеров, врачей, художников и прочих не-

простых людей. Значит, Леонид Федорович был человеком выдающихся способностей, раз его причислили к непростым вскоре после выпуска из училища.

Все-таки внимание ее рассеивалось, и она листала альбом машинально, пока не наткнулась на шляпку «ягодная чалма», которая и в прошлый раз сумела ее внимание остановить. Теперь Нэла всмотрелась в женщину, на голову которой эта шляпка была надета.

И что же это за женщина оказалась! Не трогательная прелесть цветка в ней была, а то, от чего мужчины теряют голову. То есть Нэла только знала, что это так, главным образом по картинам и книгам, а в жизни ей ни женщин такой сногсшибательной красоты, ни мужчин, сведенных ими с ума, видеть не приходилось. Но не из головы же их выдумали!

Фотография, которую Нэла вынула из стопки в конце альбома, как раз и подтверждала, что не из

головы: женщину в шляпке легко можно было представить натурщицей Брюллова или художников парижского Улья.

В стопке обнаружилось еще два изображения этой красавицы — фотография и карандашный рисунок. На фотографии она была снята вместе с Леонидом Гербольдом, а рисунок, наверное, он и сделал. Во всяком случае в манере прорисовки деталей была такая тщательность, с которой не красавиц изображают, а здания, и не просто так, а с производственной целью. Зато этот рисунок давал представление о внешности женщины даже лучше, чем фотоснимок.

Быстро перебрав всю стопку, Нэла убедилась, что фотографии там сплошь женские, и снова подумала, что Леонид Федорович, скорее всего, отложил туда свидетельства увлечений молодости, потому и альбом обнаружился только сейчас. Не хотел он, наверное, чтобы супруга о них знала.

«Да, эта на супругу не похожа, — подумала Нэла, снова вглядываясь в карандашный рисунок. — На

таких не женятся. Вернее, такие себя замужеством не обременяют».

И опустила альбом на колени. Не помогало ей прошлое, впустую увлекало замысловатым своим узором. Как бы ни решил свою неведомую жизнь прадед Леонид Федорович Гербольд, но все это было и исчезло, а ей предстоит разбираться со своей жизнью сейчас, и не только решения у нее нет, но нет даже сколько-нибудь сильного желания — физическое не в счет, — которое могло бы его подсказать.

Глава 8

— Вы, Леонид Федорович, имеете представление о том, что такое совместный труд, притом именно творческий труд. Это, должен заметить, редкость в наше время во-первых, и среди представителей свободных профессий во-вторых.

— Архитектор — не свободная профессия, — пожал плечами Гербольд.

— Теперь — да, — согласился Толковников.

— Да и раньше разве… — начал было Леонид.

Но тут дверь отворилась и вошла дама с ивовой корзиной. Безусловно, именно дама, несмотря на телогрейку и высокие болотные сапоги. Впрочем, как здесь пройдешь без сапог? Кое-где возле домов уже сделаны дощатые настилы, но на большей части будущего поселка апрельская грязь непролазна.

— Здравствуйте, Павел Серапионович, — улыбнувшись Толковникову, сказала дама. Леониду она улыбнулась с такой же приветливостью. — Извините, что задержала вас.

— Ничего, Ольга Алексеевна. — Толковников улыбнулся ей в ответ, и Леонид тоже: очень уж располагающая у нее была улыбка. — Виктор Антонович предупредил, что вы придете за покупками к закрытию. Картошка вас ждет, морковь тоже. — Он кивнул на деревянный ящик, стоящий рядом с прилавком. — А мы тут с коллегой пока обсуждаем социальную функцию искусства. Леонид Федорович Гербольд, позвольте вам представить, является большим ее сторонником. — Леонид кивнул и улыбнулся снова. — А я со старческим брюзжанием напоминаю ему, что окружающее пространство не организуешь эффективно без учета объективных законов человеческого восприятия.

Говоря это, Толковников надел брезентовые рукавицы и принялся отвешивать картошку.

— Приятно познакомиться. — Ольга Алексеевна протянула руку, и, пожимая ее, Леонид сразу ощутил, какая крепкая у нее кисть. — Как же молоды нынче архитекторы!

— Леонид Федорович наш будущий сосед, — сообщил Толковников. — Даже, можно сказать, уже настоящий: сегодня поучаствовал в благоустройстве общественной территории. А с завтрашнего дня начинается строительство его дома.

— Вот замечательно! — обрадовалась Ольга Алексеевна; яркие ее глаза сверкнули. — Нам такие соседи необходимы. Не думайте, что я имею в виду вашу физическую силу, — весело добавила она. — Просто приятно, что наш город-сад привлекает творческую молодежь. Так и должно быть.

На физическую силу Леонид не жаловался, но даже у него к вечеру начали побаливать мышцы после целого дня работы. Поселок уже строился, уже стояли посреди поля дома — «сторожевые башни», спроектированные братьями Весниными, особенно Леониду нравились, он то и дело посматривал на них, когда, опираясь на лопату, отдыхал после засыпки очередной ямы, — но само это поле было так изрыто и так утыкано пнями, что даже просто передвигаться по нему было нелегко, а работать тем более.

К вечеру он зашел в помещение древесной сушилки. В той ее части, которая уже освободилась от бревен — очень они были качественные, из отличной вологодской сосны, Леонид прямо руки потирал, представляя, какой из них получится дом, — был временно, до постройки отдельного здания, размещен продовольственный магазин. Жильцы поселка работали в нем по очереди, как и на всех других участках общественного благоустройства, но занятие для себя можно было выбирать, и Леонид предпочел раскорчевку поля. Ну а профессор Толковников сегодня дежурил в магазине, что неудивительно: земляные работы в его возрасте и с его корпулентностью были бы затруднительны.

Ольга Алексеевна протянула Толковникову корзину, он ссыпал в нее с чаши весов сначала картошку, а затем морковь, и, сказав на прощанье, чтобы непременно заходили в гости, она ушла.

— Все, закрываем торговлю! — объявил Толковников. — Вы теперь в город, Леонид Федорович? Можем поехать вместе, если не возражаете. Мне надо знакомую навестить, она хворает.

Леонид, разумеется, не возражал.

Вышли наружу, Толковников запер сушилку, подергал для верности большой навесной замок, крепко ли держится, и они неторопливо двинулись к Песчаной улице.

— Ольга Алексеевна случайно не скульптор? — спросил Леонид. — Кисть у нее очень крепкая.

Толковников засмеялся мелким рассыпающимся смехом.

— В молодости я тоже был склонен помещать людей исключительно в свою сферу деятельности.

— Не так уж я молод, — пожал плечами Леонид. — Мне двадцать восемь лет.

— Не путайте с юностью, — заметил Толковников. — Из нее вы, разумеется, вышли, а молодость длится дольше. Но тоже проходит, впрочем. А Ольга Алексеевна хирург, фамилия ее Морозова. В Первой Градской работает. Конечно, не дай бог, как прежде говорилось, но имейте в виду. У нас здесь вообще такой профессиональный состав жителей подбирается, что хоть в автономное плаванье уходи. И неплохо бы, — добавил он.

Извозчики на этой дальней московской окраине были редки, разве что у ресторана «Стрельня» стояли во множестве, но зато до самой Тверской ходил отсюда трамвай. В этом смысле жизнь в будущем поселке тоже казалась Леониду привлекательной: и не в городской суете, и не на отшибе, и до бюро удобно будет добираться. Хотя, конечно, езду в битком набитом трамвае особенным удобством не назовешь, но тут уж выбирать не из чего.

Перед трамвайной остановкой попалась глубокая лужа, и Леонид вымыл в ней сапоги. Настоящих болотных у него не было, но эти, юфтевые, и прочны были, и выглядели почти щегольски, то есть подходили и для земляных работ, и для того чтобы ходить в них по городу.

На трамвайных подножках люди висели как вишни и даже как виноградины, гроздьями.

— Товарищи, нравственно прошу: не толпитесь в дверях! — надорванным голосом кричала кондукторша.

После двух остановок Гербольду с Толковниковым удалось пробраться с задней площадки в середину вагона. Профессор при этом продолжал рассуждать о будущем поселка Сокол с такой невозмутимостью, словно ехал в пароконном экипаже. В экипаже Леонид, правда, не ездил, так что представлял это лишь гипотетически, но Толковников до революции ездил, наверное.

— Вы себе, Леонид Федорович, даже не представляете, какие у нас здесь кипели баталии. — Он уклонился от заплечного мешка, который оказался прямо у него перед носом, когда владелец, мрачный мужик, стал пробиваться к выходу. — То есть с концепцией города-сада все были согласны. Но воплощение… Первый генеральный план был так же гармоничен, как и утилитарен. Невыносимо он был утилитарен, вот что я сразу высказал на заседании нашего правления. Представьте, застройка предлагалась исключительно фронтальная, дома сплошь тиражированные. Я был категорически против! Помилуйте, если уж мы взялись представить обществу

первый кооперативный поселок, то он должен являться образцом во всех отношениях, и в художественном тоже. Люди должны хотеть в нем жить, разве не так?

— Так, — вывинчиваясь из узкого промежутка между двумя широкими женскими спинами, кивнул Леонид.

Ему очень хотелось жить в этом поселке. Он понял это сразу, когда месяц назад приехал сюда, увидел густой сосновый парк, и ажурный мост над железной дорогой, и огромное, покрытое ноздреватым мартовским снегом поле, на котором уже шло строительство. Это пространство подлежало его воображению, так бы он выразился.

— Я рад был рекомендовать вас в число тех, кто будет осуществлять замысел, — сказал Толковников.

Толковников был руководителем дипломного проекта, с которым Леонид заканчивал ВХУТЕМАС. А вскоре после защиты диплома благодаря рекомендациям Павла Серапионовича он сумел открыть

архитектурное бюро, которое теперь, к двадцати восьми годам, давало ему все, чего он мог желать — возможность труда и творчества, уважение коллег и деньги, которые позволяли ему уважать себя.

Профессор вышел у Тверской заставы — его знакомая жила в Оружейном переулке, — а Леонид доехал до Страстной площади и пошел по бульварам вниз, к себе на Рождественский.

Было уже темно, но Москва и не думала готовиться ко сну — гуляла, шумела, плясала, пела, пила и ела. Леонид тоже почувствовал голод и сразу же вспомнил, что дома кроме бутылки «Телиани» ничего съедобного не имеется. По счастью, голодные годы ушли навсегда и еды теперь в Москве хватало на любой вкус и на любые деньги, а с тех пор как два года назад отметили сухой закон, хватало и выпивки, притом разнообразной. Сорить деньгами, правда, возможности у Леонида не было — и первый взнос за дом оказался внушительный, и строительство еще предстояло, и обустройство, — однако экономить на еде ему все-таки не приходилось.

В хороший ресторан, «Эрмитаж» или «Метрополь», он не пошел: там пришлось бы провести целый вечер, а он давно не работал физически, поэтому устал и намеревался поскорее завалиться в кровать. Но и брать что-нибудь навынос, чтобы съесть в одиночестве у себя в комнате, тоже не хотелось. Он любил московскую жизнь, а возможность ужинать среди людей была одной из составляющих этой жизни, и ее он любил тоже.

Разминувшись с веселой компанией, которая во главе с гармонистом двигалась по самой середине бульвара, Леонид перешел на правый тротуар и, пройдя мимо пивной — она называлась «Маленькая собака», притом почему-то по-немецки, «Kleiner Hund», — зашел в следующее едальное заведение, благо они были едва ли не в каждом доме.

Трактир располагался в полуподвале и назывался «Франжипан». Леонид проходил мимо каждый день по дороге домой, но не заходил еще сюда ни разу. Что означает название, он не знал, но французское слово явно не соотносилось с утопленными

в тротуар тусклыми окнами, с плотными клубами папиросного дыма и с душераздирающим пением, которое ударило ему в уши, как только он открыл дверь. Он хотел уж было выйти, да вспомнил, что вечером во всех заведениях развлекает публику пивная эстрада, и решил, что репертуар все равно везде одинаковый.

Эстрада здесь действительно имелась — небольшое возвышение в конце узкого зала. На эстраде стояло пианино, на нем играл миловидный паренек, похожий на студента консерватории. Мелодия, правда, была не консерваторская — Леонид узнал «Кирпичики». Мужчина и женщина пели, стоя у рояля, а зал дружно подпевал модной песне.

— Кажду ноченьку с ним встречалися, где кирпич образует проход, вот за Сеньку-то, за кирпичики полюбила я этот завод! — выводила певица.

— Вон туда пожалуйте, товарищ инженер. — К Леониду подскочил расторопный половой с перекинутой через руку грязноватой салфеткой. — У стеночки местечко есть, позвольте проводить.

Как он угадал профессию, было Леониду непонятно, но не слишком удивительно: ее почему-то часто угадывали, даже когда он был одет в рабочее, как сейчас.

Он прошел вслед за половым к маленькому, не шире полуметра столу, придвинутому вплотную к кирпичной стенке — так, что за ним можно было сидеть лишь двоим друг против друга. Гражданин, сидящий спиной к эстраде, уже не принимал участия в общем веселье — спал, привалившись к стене.

— Они накушавшись, но тихие и вас не потревожат, не извольте беспокоиться, — сообщил половой. — Что прикажете подать?

Все ухватки у него были дореволюционные, хотя сам он выглядел лет на двадцать пять. Но с тех пор как объявили новую экономическую политику и в Москве как грибы после дождя стали появляться рестораны, обслуга словно из-под земли явилась. Правда, этот «Франжипан» был не рестораном, а простым трактиром из тех, в которых лет двадцать

назад могли бы угощаться мастеровые. Что ж, значит, и простые заведения уже стараются обслуживать пристойно, это хорошо.

— И по винтику, по кирпичику возродили мы с Сенькой завод! — грянуло с эстрады, теперь уже дуэтом.

Меню было отпечатано на засаленной серой бумаге, но радовало разнообразием. Копченые угри, телячий шницель; у Леонида даже слюнки потекли.

— Имеем скоблянку из семги, — подсказал половой. — Свежайшая, вкус исключительный, останетесь довольны.

Он заказал жареную скоблянку, водку, соленые грузди на закуску и спросил:

— А почему ваше заведение так называется?

— Французский пирог с миндальной начинкой, — с готовностью ответил половой. — Имеет название франжипан. Прикажете на десерт?

От десерта Леонид отказался, половой мгновенно принес водку в бутылке с белой головкой и тарелку с груздями, пообещал через десять минут подать рыбу и убежал.

Леонид сидел в самом дальнем углу зала, эстрада была ему едва видна, но это, может, было и хорошо: после дуэта вышел маленький и круглый, как шарик, конферансье и принялся развлекать публику такими пошлыми шутками, что следить за этим не стоило. Посетителям, впрочем, его шутки нравились: громовой хохот то и дело гремел под низкими сводами трактира.

Водка не взбодрила, как это бывало обычно — наоборот, повлекло от нее в сон. А от тепла, в которое попал с вечернего холода, запылали щеки.

«Все же лучше взять ужин домой», — подумал Леонид.

Он стал озираться в поисках разбитного полового.

— Уважаемая публика, хорошо ты посмеялась, пора тебе и поплакать! — радостно объявил конферансье. — Прямо в душу льется волшебный голос нашей драгоценной, бриллиантовой донны…

Как зовут донну — почему донна, кстати? испанка? — Леонид не расслышал из-за аплодисментов и выкриков хоть и пьяных, но восторженных. Видно, обладательницу волшебного голоса здесь хорошо знали.

Сосед напротив проснулся, вскочил, вытаращив глаза, пробормотал что-то невнятное, сел и тут же уснул опять, лишь переменив немного позу. Из-за его бессмысленного телодвижения Леонид не увидел, как эта донна вышла на эстраду, а сразу услышал фортепианный аккомпанемент и ее голос.

И замер.

Когда ему было шесть лет, у него обнаружился абсолютный слух, то есть это учитель музыки сказал, что абсолютный, и мама, конечно же, сразу пригласила его заниматься с мальчиком. Моцарта из мальчика не вышло, однако пять лет были музыке отданы, поэтому представление о том, что такое настоящий певческий голос, Леонид имел.

Но даже если бы не имел он об этом никакого представления… Чтобы все внутри замирало и

вихрилось при каждом звуке, льющемся из горла этой донны, не надо было не только музыкального слуха — кажется, можно было обойтись без всякого слуха вообще.

— Как снежинки они разлетятся, будет сердце безмолвно стонать… — звучали слова ее песни.

Леонид непроизвольно встал, чтобы увидеть певицу. Ему мешали посетители — как они могут галдеть?! — мешали половые, снующие между столами, мешал гул, и дым, и кухонный чад… Но вместе с тем все это не имело никакого значения. Совершенно никакого. Голос певицы был сильнее гула и галдежа. Не громче, а вот именно сильнее — той силой, которая не зависит ни от чего внешнего, составляя самую сущность человека, а может, и не только человека, но того большего, к чему и человек принадлежит.

Одна песня сменяла другую, теперь она пела об осени, о болотных огнях, а он стоя слушал, и она в самом деле казалась ему бриллиантовой, потому

что даже в тусклом свете ламп рассыпались от нее ярчайшие огни.

Очередная песня кончилась, зашлепали аплодисменты, какой-то лысый мужчина поднялся из-за стола, стоящего у самой эстрады, и, неторопливо сделав два шага, вручил певице большой букет бордовых роз.

— Скобляночка ваша готова!

Половой подскочил к столу и, деликатно отодвинув Леонида, плеснул в его рюмку водки из бутылки, убрал пустую тарелку из-под грибов и поставил на ее место горячую сковородку на фаянсовой подставке. Леонид посмотрел на него оторопело — что он делает, зачем?

За то мгновенье, на которое он отвел взгляд от эстрады, певица исчезла.

— Где она? — непроизвольно вырвалось у него.

— Не извольте беспокоиться, — тут же ответил малый. — Сейчас еще один номер исполнит, минутку подождите, получите полное удовольствие. Кушайте покамест.

Есть Леонид не стал: семга источала аппетитный запах, но ему кусок не лез в горло. Он одним глотком выпил водку и хотел налить себе еще — надеялся успокоиться, — но тут певица появилась снова, и он забыл о своем намерении. Да и не успокоила бы его водка, ничто его не успокоило бы, так он был взволнован.

Про снежинки, осень и болотные огни она пела в каком-то сверкающем длинном платье, и ее густые темно-русые волосы закрывали плечи, а теперь была одета в матросский костюмчик и волосы были убраны под лихо сдвинутую набок бескозырку. Матросский наряд не слишком к ней шел, он был бы под стать маленькой пухленькой девчонке-перчинке, а она была высокая, вся какая-то узкая, с длинными, почти дисгармонично длинными руками; Леонид все-таки успокоился, поэтому мог уже видеть ее в подробностях.

Но когда она начала петь, то оказалось, что подходит ей и этот костюм. Все ей подходило, потому

что любой наряд был лишь обрамлением того главного, что было ею.

— Шумит ночной Марсель…

В этих первых словах и звуках прозвучало обещание, загадочное и волнующее. Но природа ее обещания была не та, что обусловливается неприкрытой чувственностью, то есть пошлостью, а совсем другая. Леонид не нашел бы слов, чтобы ее объяснить, но он и не искал сейчас слов — он не отрываясь смотрел на певицу.

И вдруг, буквально в одно мгновенье, она преобразилась совершенно. В голосе ее, во взгляде, в каждом движении сверкнула удаль, и сразу же ритм танго ускорился, виртуозно переменился, и ее ножки в черных лаковых ботиночках отбили стэп так дробно, как не смогли бы отбить даже барабанные палочки. И снова она запела, и снова застучали каблучки, огнем сверкнули глаза!

Когда с последними звуками песни и последней чечеточной дробью слетела с ее головы бескозырка

и волосы хлынули на плечи блестящей волной, к потолку рванулся такой вопль всеобщего восторга, что, казалось, вот-вот обрушатся своды.

Певица раскланивалась, ее глаза сверкали, а на эстраду уже поднялся конферансье и объявил следующего исполнителя — иллюзиониста. Его имени Леонид не расслышал, потому что проталкивался между посетителями к выходу.

— Воздухом идете подышать? — Половой свился перед ним из папиросного дыма. — Скобляночку к вашему возвращению подогреть, может?

— Благодарю, не надо. Я не вернусь.

Он достал бумажник и расплатился, половой радостно закивал, довольный чаевыми и тем, что нетронутая еда подлежала теперь, вероятно, его усмотрению.

Глава 9

Выйдя на улицу, Леонид провел по лицу ладонями, словно хотел умыться холодным весенним воздухом. Но щеки все равно пылали, водка кружила голову. А может и не водка, ведь он выпил не много.

Фонари горели тускло, с середины бульвара доносились громкие крики — кто-то кого-то грозился побить. Вслед за криками раздался женский визг, но в нем слышалась не просьба о помощи, а подначка «дай ему, Коська, пущай знает!» — и Леонид обрадовался, что можно не обращать на этот визг внимания. На мгновенье ему стало неловко от того, что он воспринял бы сейчас просьбу о помощи лишь как досадную помеху, но тут же он забыл о своей досаде.

Обо всем он забыл. Он был уверен, что необыкновенная донна сейчас выйдет на улицу, и не было силы, способной сдвинуть его с места до ее появления.

Она вышла через пять минут — появилась не из двери, ведущей в трактир с бульвара, а из удаленной арки; видимо, там было что-то вроде служебного выхода. Она была в темном пальто и в маленькой шляпке без полей, но Леонид сразу узнал ее по высокой узкой фигуре, а еще больше по тому, как стремительно забилось у него сердце при ее появлении. На мгновенье он растерялся — понял вдруг, что не знает, с чем к ней подойти. Высказать комплимент ее голосу? У него даже цветов нет, и, возможно, она воспримет как вульгарность такой подходец у трактира.

Неизвестно, что он решил бы за те несколько секунд, которые она шла от угла дома, но тут дверь трактира снова открылась и из нее появилась компания — три человека оказались между Леонидом и певицей. Та остановилась, а он досадливо поморщился из-за помехи, ожидая, впрочем, что посетители сейчас же пойдут куда им надо.

Но вышло иначе.

— Эх-ха ты спела! — громко произнес низенький, в пальто до пят, стоящий на шаг впереди двух

других. — Прямо душу потешила, ей-бо! Ну, пошли теперь, что ли.

Он приглашающе махнул рукой и, повернувшись к ней спиной, неторопливо двинулся вперед, словно она обязана была последовать за ним. Два его спутника остались на месте. Леонид не видел их лиц, но приземистые, похожие друг на друга фигуры показались ему мрачными, даже зловещими.

А ее лицо было ему видно — она успела уже подойти совсем близко. Она показалась ему еще красивее, чем на эстраде. Глаза ее, возможно, были черными, а возможно, наоборот, прозрачными и потому вбирающими в себя вечернюю тьму. Но вне зависимости от цвета они производили завораживающее впечатление из-за яркого своего блеска и дивной формы.

«Франжипан, — мелькнуло у Леонида в голове. — При чем франжипан? Ах да, миндаль».

Глаза у нее были именно такие, которые называют миндалевидными, уголки почти касались висков. Их выражение сначала было Леониду непо-

нятно, но потом она качнулась вперед, тут же сделала шаг назад, и он понял, что она или колеблется, или чего-то боится.

— Ну? — Коротышка в длинном пальто обернулся. — Чего стоишь?

Усмешка, появившаяся на ее губах, была больше похожа на судорогу. Она поднесла к лицу букет, который держала в руках, словно хотела смахнуть с губ эту судорогу, для нее, казалось, мучительную.

— То-то, — с непонятным Леониду удовлетворением хмыкнул при этом коротышка. — Давай-давай, время деньги. Твои.

Он едва заметно кивнул своим спутникам и возобновил неспешное движение, а они шагнули к ней. Но тут она сделала нечто такое, чего от нее, вероятно, не ожидали — размахнулась и швырнула букет на проезжую часть, подальше от себя. Розы упали в лужу, плеснув, как рыбы.

Один из приземистых бросился доставать букет из лужи, а второй схватил ее за руку. Она не вскрикнула, но ситуация была так очевидна, что призывы о помощи Леониду и не требовались.

Он не был записным драчуном даже в детстве, но все-таки детство его прошло не в Пажеском корпусе и кое-какие навыки самозащиты у него имелись. Да и не надо было никаких особых навыков, чтобы левой рукой схватить приземистого типа за хлястик короткого пальто и, отшвырнув таким образом в сторону, тут же ударить правой в подбородок. Такой удар, особенно неожиданный, вывел бы из строя любого; это и произошло.

Но произошло лишь с первым, а был еще второй, о нем Леонид тоже помнил, вернее, подразумевал его существование, и не столько разумом, сколько нервными окончаниями. Когда этот второй бросился на него справа, он качнулся вперед так, чтобы его плечо оказалось между нападающим и девушкой, и едва тот налетел на его плечо, сразу же повторил удар снизу вверх под подбородок, благо, возясь с букетом, второй не заметил, от чего упал первый.

Все это, может, и производило эффектное впечатление, но Леонид знал, что эффект будет недолгим. Не убил же он этих крепких мужичков, сейчас

оба поднимутся на ноги и начнут действовать слаженно уже с пониманием ситуации.

В общем, мешкать не следовало. Леонид схватил девушку за руку. Он боялся, что она вырвется — с какой стати ей следовать за каким-то неизвестным человеком, как она может быть уверена, что он лучше этих двоих? — и они потеряют из-за этого драгоценные секунды. Но она не стала сопротивляться, а не произнеся ни слова побежала вместе с ним вниз по Рождественскому бульвару.

То, что почти в каждом доме был трактир или пивная, оказалось кстати: на тротуаре толпились входящие и выходящие посетители, и Леонид с его неожиданной спутницей смешивались с ними.

— Прошу вас, — сказал он, наконец открывая перед нею дверь своего парадного.

Она помедлила мгновенье, но вошла.

Лампочки внизу давно были вывинчены, до третьего этажа, где начиналось тусклое освещение, пришлось подниматься в полной темноте, но, огля-

дываясь, Леонид видел, как блестят ее глаза. Удивительным образом они блестели, без источника внешнего света.

— Мне кажется, вам лучше переждать некоторое время у меня, — сказал Леонид. — Потом я провожу вас домой, если позволите.

— Зачем вы это сделали? — с досадой произнесла она.

— Что сделал? — не понял он.

— Ах, уже неважно! — Она взглянула на дверь его квартиры так сердито, будто та была в чем-то виновата. — Пойдемте, деваться теперь некуда.

Он отпер дверь, и они вошли.

Квартира, в которой Леонид вскоре после выпуска из ВХУТЕМАСа получил, как счастливый лотерейный билет, комнату, была самой обычной московской коммуналкой, то есть состояла из пятнадцати комнат и длинного коридора, завершающегося довольно просторной кухней. Вернее, квартиру эту можно было считать даже не обычной, а осо-

бенно удобной, потому что все комнаты были отдельные, не образовывали анфиладу, и не приходилось, следовательно, как в других коммуналках, подолгу топтаться в выстуженной прихожей, дожидаясь, пока жилец первой проходной комнаты откроет дверь и позволит пройти через свое обиталище дальше.

До сегодняшнего вечера он именно так и считал — что жилищные условия у него вполне сносные. Но войдя в квартиру вместе с этой девушкой, а она была не первой девушкой, с которой он сюда входил, Леонид вдруг устыдился убожества своего жилья — тусклой голой лампочки, освещающей коридор, корзин, сундуков, разнообразного хлама у каждой двери, сырости, не выветривающейся после вечной чьей-нибудь стирки, угарного чада, исходящего от угольных утюгов после вечной же глажки…

Он покосился на свою спутницу, благо свет, хоть и тусклый, позволял ее теперь рассмотреть. Она вовсе не напоминала Принцессу на горошине, такую,

которая была нарисована в его детской книжке сказок Андерсена. Неизвестно, какой она бывала обычно, но сейчас явно сердилась, это выражение было особенно заметно в правильных чертах ее лица. Ему стало неловко, и он поспешил открыть дверь в свою комнату.

За два года Леонид ничем не приукрасил свое жилище, это тоже стало для него очевидно лишь теперь, и он устыдился этого, потому что спартанская скудность обстановки показалась ему свидетельством скудности собственной личности. Никогда ему такое даже в голову не приходило, и вот поди ж ты!

Она прошла в комнату, огляделась. Усмехнулась? Он рассердился на себя за такую подозрительность. Чего ему стесняться? Чисто в комнате, и довольно.

— Располагайтесь, пожалуйста, — сказал он. И, спохватившись, представился: — Леонид Федорович Гербольд.

Он ожидал, что она назовет свое имя, но вместо этого девушка сказала:

— Необычная фамилия. Что она означает?

— Понятия не имею. — Леонид пожал плечами. — Происходит от древних воинов, насколько мне известно, новгородских или псковских. Я сам из Пскова. А вас как зовут? — после ее бесцеремонного вопроса счел возможным поинтересоваться он.

— Донка, — ответила она.

— Как, простите? Донна…

— Не донна. — Она покачала головой, глаза блеснули, но уже не сердито, а лукаво. — Донка.

— А… по отчеству? — с глупой растерянностью спросил Леонид.

— Можно просто Донка. Это мое полное имя.

Теперь уже было видно, что она сдерживает смех, и он не понимал, что это означает. Дразнит его, что ли? Но даже если так — в ее смеющихся глазах сверкала жизнь и было такое обаяние, что все остальное не имело значения.

— Мне кажется, вам стоит побыть здесь хотя бы час, — сказал Леонид. — Могу предложить чаю. Или

вина, — добавил он, вспомнив о «Телиани» и сразу же о том, что к вину нет ни конфет, ни фруктов, ни хоть булки, что ли.

— Не надо.

Она все-таки сняла пальто, и Леонид взял его из ее рук вместе с большой сумкой, в которой, вероятно, лежали сценические костюмы. Он тут же вспомнил эстраду, на которой она пела и плясала в клубах дыма, и поразился тому, как это могло быть. Невозможным казалось соединить ее глаза, и плечи, и волны ярко-русых волос на плечах с тем дымом, и шумом, и пьяными выкриками.

— Вы прекрасно пели, — сказал он.

Банальность собственных слов раздосадовала его, она была вызвана смятением, непривычным для него состоянием. Но Донка не усмехнулась, как он ожидал, не поморщилась, а сказала, глядя на него прямым взглядом:

— Благодарю вас. Я видела, как вы слушали.

Прямота ее взгляда развеяла его смятение, и он спросил:

— Отчего вы рассердились на меня?

— Ах, не на вас! — махнула рукой она. — Только на то, что вы вмешались.

— Но я…

Леонид хотел сказать, что в той ситуации невозможно было не вмешаться, потому что ей угрожала настоящая опасность, но она перебила его:

— Я ценю ваше благородство, оно избавило меня от унижения. Но оно же и лишило меня работы, совершенно лишило, а значит, к унижению я все равно приду, только чуть позже. Не намного позже, думаю.

— Но почему? — Он не понимал ее логику, это уязвляло его. — Что дает вам основание полагать, будто вы потеряете работу?

— Нас слишком много. — Донка пожала плечами. — Вы себе не представляете, что творится на актерской бирже. Там столпотворение, а люди сплошь одаренные, просто блестящие. В приличные театры не попасть, да что там в театры, даже в приличные рестораны не устроиться выступать. Только

пивная эстрада остается, да и на ней конкуренция, потому порядки очень жестки.

— Но ведь заведений вроде этого «Франжипана» в Москве многие сотни! — воскликнул Леонид.

Он не мог представить, чтобы такая актриса, как она, должна была страдать от конкуренции, ее превосходство над заурядностью казалось ему слишком очевидным. Наверное, недоумение и возмущение явственно выразились на его лице, потому что Донка сказала:

— Таких, как я, тоже много, Леонид Федорович. Гораздо больше, чем пивных. И всем нам приходится ходить по струнке, иначе любого из нас просто вышвырнут вон с волчьим билетом. — Тут ее глаза сузились, и она жестко проговорила: — Нам не приходится спорить с такими, как Жох.

— Как кто?.. — не понял Леонид.

— Жох, — повторила она. — Тот, что подарил мне эти треклятые розы.

— И что же за великая птица этот Жох? — пожал плечами Гербольд.

— Вы зря так скептичны. Он хозяин этого заведения. И не только этого. И то, что он преподнес букет… У нас это считается твердым признаком того, что я… В общем, я не должна была его принимать. Но я… растерялась.

В ее голосе действительно послышалась нотка растерянности, а в глазах промелькнуло что-то такое жалкое, что у Леонида сжалось сердце.

Кажется, Донка и сама поняла, что ее растерянность стала очевидна, и рассердилась на себя за это. Она резко поднялась со стула, подошла к окну, отодвинула край занавески и, отвернувшись от Леонида, стала смотреть на улицу.

— Послушайте, — сказал Леонид уже совершенно ровным голосом; он умел контролировать свои эмоции. — Я полагаю все это каким-то надуманным ритуалом. Актерам всегда дарят цветы, это не означает ровно ничего, кроме восхищения талантом.

— Прежде было так, — кивнула она. — Но теперь переменилось. Вы забыли, как женщины вынуждены были отдаваться за кусок хлеба, притом буквально за кусок?

Ее лицо исказила при этих словах такая болезненная гримаса, что всю ее красоту словно тряпкой стерли.

— Это кончено навсегда, — твердо сказал Леонид. — Гражданская война кончена, голод и унижение вместе с нею.

— Вы взрослый человек, а говорите как наивный ребенок.

Донка резко задернула занавеску и пошла к двери.

— Постойте!

Леонид сделал шаг ей наперерез и тут же устыдился этого. Но Донка не обратила внимания ни на его жест, ни тем более на стыд. Если бы он вздумал взять ее за руку сейчас, как недавно на улице, она, пожалуй, дала бы ему пощечину, это он понял по тому, как сверкали теперь ее глаза.

— Позвольте мне проводить вас. — Он устыдился своих заискивающих интонаций. — Хотя бы взять вам извозчика.

— Я сама в состоянии это сделать.

Как только из прихожей донесся стук закрывающейся входной двери, Леонид выскочил из комнаты. Спускаясь по лестнице, он услышал, как хлопнула дверь парадного, а в ту минуту, когда выбежал на улицу, увидел отъезжающего от тротуара извозчика.

Рациональный его разум говорил, что невозможно влюбиться с первого взгляда, с ним этого не случалось никогда, и сейчас он не мог назвать любовью то, что чувствовал, глядя вслед уезжающей Донке. Но что означало смятение, охватившее его, как только она исчезла в темноте? Он не знал.

Глава 10

— Ну как тебе? — По всему виду Антона было понятно, что он уверен в Нэлином ответе. — По-моему, получилось.

Зачем лишать его радости, не высказав одобрение или даже восхищение? Возвышающееся перед ними здание поблескивало стеклом и сталью, гармония всех его линий была понятна даже неискушенному человеку. Себя Нэла как раз не считала искушенной в конструктивизме, и это лишь подтверждало ее уверенность в том, что Антон позвал ее в Москву не из производственной необходимости. После месяца, прошедшего с ее приезда, глупо было бы делать вид, будто она этого не понимает.

Это был месяц осторожный и страстный — сочетание странное, но в их случае явное, во всяком случае для Нэлы. Да и Антон, наверное, именно так назвал бы то, что происходило между ними, если бы умел или хотел искать названия для подобных неуловимостей. Страсть друг к другу была несомненной, но не соединяла их; это Нэла понимала, но

причину этого понять не могла. Возможно, дело в возрасте: страсть еще является необходимым, но уже не является достаточным, как в юности, скрепляющим веществом.

А возможно, в чем-то совсем другом дело. Это неясное другое и вызывало осторожность, а почему, Нэле непонятно было тоже.

— Получилось. — кивнула она. — Даже удивительно.

— Что удивительного? — обиделся Антон.

— Что это всего лишь третий ваш проект.

— А!.. Ну я же тебе говорил, ребята талантливые.

В талантливости его архитекторов Нэла успела убедиться сама. Ей не раз случалось писать об архитектуре, но не научные статьи, а лишь эссе вроде тех, которые вошли в альбом о палладианских виллах, поэтому она не считала себя экспертом, но различить талантливость людей по тем чертам, которые являются приметами таланта вообще, любого, вне зависимости от профессии, умела.

В бюро на Луженецкой набережной она приходила каждый день, и все-таки с некоторой неловкостью. Антон представил ее всем как новую пиарщицу, но Нэла понимала, что он назвал ее так лишь потому, что надо же было как-то объяснить ее присутствие. Его полуложь вызывала у нее неловкость, но зато этот наскоро выдуманный статус позволял ей расспрашивать сотрудников бюро «Дайнхаус», вникая во все, что они делали.

Способ составить себе самое полное представление о любой деятельности, связанной с искусством, был ею освоен еще в те годы, когда она только начала работать корреспондентом телеканала «Арте». И если даже тогда ей удавалось разбираться в том, как функционируют большие реставрационные мастерские, музеи и театры, то странно было бы не разобраться в этом теперь по отношению к маленькому архитектурному бюро.

Они быстро поняла, что Сергей, Феликс и Николай, которым Антон с самого начала предложил у него работать, люди незаурядные. Их способность к

неожиданным и необычным решениям основывалась на знании того, что давно уже стало как раз-таки обычным, общепринятым, и стало не по чьему-то случайному решению, а в результате отбора, неторопливо и тонко сделанного самой жизнью. В этом состоял талант и в этом состояло образование; то и другое у них было.

Нэле нравилось рассматривать вместе с ними эскизы уже осуществляемых и едва задуманных проектов, нравилось слушать и спрашивать, нравилось чувствовать при этом в каждом из них интерес ко всему, что они делают вместе.

Она всегда знала, что Антон хорошо разбирается в людях, и догадывалась, что он умеет ставить себе на службу их лучшие качества, подавляя при этом худшие; теперь это подтвердилось. То есть Нэла не знала, конечно, какими отрицательными качествами обладают сотрудники «Дайнхауса» — она намеренно отстранялась от всего, что относилось к области человеческих связей и не относилось непосредственно к делу, — но видела, что если таковые

качества и есть, в работе они никак не проявляются. Менее проницательному человеку, да даже ей самой в юности, могло бы показаться, что это получается само собой, но теперешняя Нэла знала, что гармонии в человеческих отношениях по умолчанию не бывает.

Преображенное здание одного из цехов, сверкающее как драгоценность посреди унылой территории давно закрытого завода, было зримым и убедительным выражением этой гармонии. Огромные окна в обрамлении блестящей стали — почти что стеклянные стены — делали его легким несмотря на внушительные размеры. В каждом из окон на каждом из четырех этажей видны были разноцветные автомобили.

— Если б ты знала, чего нам стоило этот заказ получить, — сказал Антон. — Это ж чуть не самый большой в Европе дилерский центр, не кот начхал. А тут мы — в бизнесе без году неделя. Я, после того как конкурс выиграли, еще неделю по утрам просыпался и думал: все мне это приснилось. Его когда-то

Форд построил, завод этот, — добавил он, заметив, что Нэла не отводит взгляда от здания. — Вообще, скажу тебе, как вникнешь немного, так и понимаешь, какую лапшу нам на уши вешали с этой советской индустриализацией. Электрификацию еще при царе спланировали, это Форд построил, то Сименс, сё Дженерал Электрик. Наши рабочую силу поставляли в основном, и охранников.

Для Нэлы все это не было открытием, и она оставила слова Антона без внимания.

— Ну что, поехали? — спросил он. — К Кузнецову не опоздать бы.

Встречаться с Кузнецовым, от которого зависел очередной заказ, Нэле совсем не хотелось. Но и отказывать Антону в таком пустяке не было никаких причин.

Пробираясь через вмертвую стоящий в пробках город, они чуть не опоздали. Антон нервничал, повторял, что Кузнецов не тот человек, которого он может заставлять ждать. Нэла, может быть, тоже нервничала бы из-за нарушения делового этикета… Но

уже на исходе первого часа, проведенного в машине, в удобном Антоновом «Рэндж Ровере», еле ползущем по Волгоградскому проспекту, она чувствовала лишь досаду и раздражение.

— Это же невозможно! — воскликнула она, когда у Третьего кольца движение остановилось совсем.

— Я и говорю, не тот он человек, который меня ждать будет.

В голосе Антона промелькнул подавленный испуг.

— Не в том дело, — поморщилась Нэла.

— Ничего себе не в том!

— Не в том, — повторила она.

— А в чем?

— Мне уже поздно думать, что жизнь у меня бесконечная, вот в чем. Я не могу так тупо ее растрачивать на вот это!

Она сердито кивнула на вереницу неподвижных машин впереди.

— Ну так живи в деревне, — зло бросил Антон.

— И прекрасно жила!

Они замолчали. Бесконечно можно было перебрасываться бессмысленными словами. Нэла почувствовала болезненную злость на ту непонятную силу, которая заставляет их это делать.

Она покосилась на Антона и, встретив его взгляд, поняла, что он чувствует то же самое.

На встречу они успели. Вернее, не они успели, а Кузнецов опоздал на сорок минут, так что у них было время отдышаться после бега по Тверскому бульвару — место для парковки нашлось только в переулке, выходящем на Большую Бронную, — и заказать чай.

Окинув взглядом зал, Нэла поняла, что несмотря на японские интерьеры этот ресторан очень московский, потому что предназначен для ценящих дороговизну, но не бьющую попросту в глаза, а изысканную. В этом смысле он противоречил пластмассовому китчу улиц — здесь было стекло и дерево, свет преломлялся в банках с багровой и оранжевой водой, источали тонкий аромат корзины с лимонами,

притягивала взгляд стена, выложенная затейливо свернутыми лоскутками, иронически посверкивала другая, сделанная из хрустальных ваз, димсам, которые принесли к чаю, выглядели как ювелирные украшения на маленьких фарфоровых тарелочках…

Все было удобно и безупречно, и не было никаких причин испытывать ко всему этому неприязнь. Но Нэла не могла от неприязни избавиться, и направлена она была на этот стильный зал и на бессмыслицу улиц совершенно в равной мере. То и другое было частью какого-то единого механизма — эта догадка появилась у нее неожиданно, и неприязнь сменилась необъяснимым страхом.

Правда, страх тут же исчез, потому что для него не было никаких причин и потому что в дверях наконец показался Кузнецов.

Нэла видела этого человека впервые, но сразу догадалась, что ждут они именно его. Сознание собственной значимости окружало Кузнецова, как эфирное облако окружает невзрачный куст в пустыне.

«Неопалимая купина», — подумала Нэла.

Непонятно, с чего вдруг пришло в голову такое сравнение — к сфере вечного этот Кузнецов не имел ни малейшего отношения. Или имел?..

Он поздоровался, сел за стол и, открывая меню, сказал Нэле:

— Приятно познакомиться, Нэла. Много о вас слышал.

Антон при этих словах бросил на нее короткий и несколько смущенный взгляд. Интересно, что он рассказывал о ней этому Кузнецову, и зачем? Впрочем, неинтересно.

— Будем знакомы, — ответила она.

— Уже заказали? — спросил он. — Мисо с черной треской рекомендую. И вот сашими у них новые хороши, говорят. Сам еще не пробовал, закажу.

Заказывал он долго и с удовольствием. Нэла и Антон ожидали, пока он расспрашивал официанта, действительно ли свежи крабы в перечном соусе и скоро ли приготовятся гребешки на гриле.

— Бабушка моя говорила: ешь, пока живот свеж — завянет, ни на что не глянет, — весело сказал он, завершив наконец это действо.

Нэла, может быть, поверила бы в бесхитростное гурманство простого человека, у которого появилась возможность вкусно питаться, но весь облик Кузнецова — виртуозная линия стрижки, очки в тонкой черепаховой оправе, бордовый галстук из матового шелка с едва проступающим глянцевым рисунком — говорил о другом. Он не был штучным товаром, но сделан был по дорогостоящему лекалу, и уже поэтому не приходилось доверять его простоте.

Димсам ему принесли тоже. Запивая их белым французским вином, Кузнецов расспрашивал Нэлу о жизни в Европе.

— Я этого мейнстримного тренда вообще не разделяю, — сообщил он. — Европа нам не нужна, потому что там нажива, а у нас тут душовность, вот это всё. Бардак у нас тут, больше ничего. И Европа нам не то что не нужна, а просто не получается ее тут у нас. И никогда не получится.

При этих его словах Антон посмотрел на Нэлу так выразительно, что она еле сдержала улыбку. Помнит бывший муж, как горячо ввязывалась она в спор, если кто-то, в том числе и он, говорил глупость. И не сознает, как давно это было.

В борьбу с глупостью она давно уже не ввязывалась, поэтому просто смотрела на Кузнецова, ожидая следующих его слов. Это был обезоруживающий прием, так как смотрела она без малейшей неприязни, наоборот, с живым интересом, который воодушевлял любого мужчину. Кузнецов встретил ее взгляд, усмехнулся и промолчал. Он тоже бы искушен в приемах такого рода, это Нэла поняла так ясно, как если бы он произнес это вслух. Было в его понимающей усмешке что-то оскорбительное, но она не знала, как определить это словами, и собственная неожиданная беспомощность вызвала у нее досаду.

Принесли суп, гребешки, сашими; каждая тарелка была похожа на картину, написанную яркими красками.

— Вы, значит, в итальянской деревне последнее время жили? — поинтересовался Кузнецов.

— Да, — коротко ответила Нэла.

Желание разговаривать с ним и сразу было невелико, а теперь исчезло вовсе.

— Не скучно было?

— Иногда скучно, — пожала она плечами. — Но скука важный человеческий опыт, вы не находите?

Он посмотрел удивленно, и она поняла, что переоценила его ум. Вернее, не переоценила, а просто перепутала ум с опытом манипулирования, который только и был в его житейском запасе.

За обильным обедом последовал такой же обильный десерт — какие-то эффектные сладкие макароны. В том, как Кузнецов ел, изредка задавая вопросы и не считая нужным что-либо рассказывать самому, была все та же оскорбительность. Он не то чтобы старался показать свое превосходство — это, вероятно, было предыдущим этапом его жизнедеятельности, а сейчас он просто считал его данностью, которая никаких доказательств не требует.

Нэла не могла дождаться, когда пройдет это бессмысленное время.

— Ну, Антон Андреевич, будь здоров, — наконец сказал Кузнецов. — Завтра мне позвони, повстречаемся все вместе. И подпишете.

Он поднялся из-за стола, без слов кивнул Нэле и вышел.

— Чему ты радуешься? — сказала Нэла, глядя на мгновенно повеселевшее Антоново лицо. — Счету? Вину по пятьсот евро за бутылку?

— Ты не поняла, что ли? — Он взволнованно провел пятерней по вихру надо лбом. — Подумаешь, вино! Одобрил он нам заказ!

— Может, ты мне хотя бы скажешь какой? — сердито спросила она. — И почему, кстати, его Кузнецов одобряет? Разве это от города заказ, не частный?

— Нет уже ничего частного, Нэлка, — сказал Антон. — Ну то есть заказ частный, да. Но без Кузнецова песочницу в центре перестроить не дадут, не то что этот Дом рабочих.

— Какой Дом рабочих? — Интерес наконец пересилил ощущение необъяснимого, но явного унижения, которое она только что испытала. — Где?

— На Плющихе. Дом рабочих имени Нового Труда. Знаешь?

— Не-а, — покачала головой Нэла. — Может, знала, но забыла.

— Хочешь, сейчас посмотрим? — предложил он.

— Ты хочешь, — улыбнулась Нэла.

Он кивнул, и улыбка озарила его лицо так, что невозможно было ответить ему отказом.

Глава 11

Дача, которую спроектировали для Антона архитекторы «Дайнхауса», Нэле понравилась. Участок еще выглядел строительной площадкой, но дом уже стоял. Он был сделан в виде полусферы, поверху опоясан вереницей больших окон, понизу — стеклянными вставками в стены, а комнаты располагались на втором этаже так, что не перегораживали общего высокого пространства.

Но все-таки этот дом еще не был приспособлен для жизни, да и ездить оттуда в город каждый день Антон не хотел из-за пробок, поэтому, когда начался ремонт в его квартире, он перебрался в гербольдовский дом на Соколе. Впрочем, по этой причине перебрался или по какой-нибудь другой, Нэла его не спрашивала.

Для нее же родительский дом оказался единственным приемлемым вариантом жизни в Москве. Нэла не то что отвыкла от большого города — точнее было сказать, что она привыкла к другой жизни, а еще точнее, что другая по содержанию и ритму

жизнь стала ей необходима в том возрасте, в который она вошла неощутимо и который не знала, считать ли еще молодостью.

Когда-то Нэла не мыслила жизни без того азарта, который дает не просто большой город, а именно мегаполис. Этот восхитительный азарт ни на минуту не прекращающегося производства чего-то нового остро чувствовался в Нью-Йорке, и Нью-Йорк, в котором она однажды прожила год, весь этот год приводил ее в состояние непрерывного восторга. Он был ощутим в Берлине, и она привыкла к Берлину мгновенно и полюбила его.

Она знала, что этот азарт мегаполиса есть и в Москве, но совсем не чувствовала его теперь. И не понимала, исчез он или она перестала испытывать в нем необходимость, и тем более не понимала, почему это произошло.

Как бы там ни было, ей нравилось жить посреди Москвы в поселке, дома которого скрывались в садах, в сени деревьев, в сплетении тихих улиц, в цветущих палисадниках.

Антон бывал в бюро редко, но из дому уезжал каждый день. Куда, Нэла не расспрашивала, но не из опасения выяснить, что у него есть женщина или даже семья, а от достаточности знать то, что он сам ей сообщил о своих нынешних занятиях: что одного слова Кузнецова все-таки мало для того, чтобы «Дайнхаус» мог приступить к вожделенному проекту, теперь это главное согласие должно быть дополнено множеством согласий второстепенных и третьестепенных людей, при этом каждый из них требует отношения к себе как главному, и если получит повод в таком отношении усомниться, то испортит жизнь так, что мало не покажется…

В общем, ей достаточно было знать, что Антон на работе, как достаточно это знать о взрослых маленькому ребенку, у которого своя жизнь, пусть и замкнутая в небольшом пространстве, но для него полноценная. У нее было пространство собственных мыслей, оно было заключено в физическое пространство дома на Соколе, и этого ей хватало.

В бюро она бывать перестала: межеумочность собственного там положения стала для нее так очевидна, что должна была, ей казалось, являться очевидной и для всех. И поскольку уже было ясно, что предложение работы Антон использовал лишь для того чтобы встретиться с бывшей женой, а теперь их отношения хоть и выстроились не слишком понятным образом, но все-таки выстроились, — она решила, что нечего ей вмешиваться в работу людей, которые прекрасно обходятся без нее. Тем более что красивая женщина Марина, занимавшаяся в «Дайнхаусе» внутренним оборотом документов, смотрела на Антона влюбленными глазами, а на Нэлу соответственно волком, и как-то на это отвечать Нэла не считала нужным.

И она вернулась к привычному образу жизни, едва ли не более уединенному, чем даже в итальянской деревне.

Это и не могло быть иначе: Нэла уехала из Москвы так давно, что любое общение здесь надо было налаживать заново, и это уже не могло про-

изойти само собой, как двадцать лет назад. Впрочем, ее это устраивало: без светских вечеринок она легко обходилась, а для общения и работы ей хватало брата с его семьей, соколянских соседей, фейсбука и скайпа.

— Ваша способность слушать и ваше обаяние, мадам Гербольд, передаются мне в Бретань по проводам, или по чему мы с вами сейчас разговариваем, — сказал ей старый скульптор, с которым она беседовала три вечера кряду для одного парижского журнала.

Журнал этот, напоминавший солидную книгу, выходил четыре раза в год, посвящен был интеллектуальным проблемам современности и раскупался как горячие пирожки. Последнему обстоятельству Антон, когда Нэла перевела ему оглавление, не поверил, но это было именно так: все связанное со сложной жизнью человеческого духа было в Европе востребовано. Впрочем, востребовано было не именно и не только сложное — мир приобретал какое-то новое, еще неясное качество, земной шар

был окутан плотным облаком информации и двадцать четыре часа в сутки нуждался в неизмеримом количестве слов и образов, которые были бы интересны людям, а потому нуждался и в тех, кто способны такие слова и образы создавать.

— Правда? — хмыкнул Антон. — Раз так, хорошо тебе. Без работы не останешься.

— Мне хорошо, — согласилась Нэла.

Востребованность того, что она может написать на разных языках, стала ей понятна уже давно, и ее жизнь с тех пор сделалась безбедной. Во всяком случае, она так считала. Богатства нет, но и не надо, бедности нет тоже, нет страха потерять работу, потому что работа находится для нее везде, нет поэтому привязанности к единственному какому-нибудь месту… Что за все это приходится платить неприкаянностью, Нэла больше не думала — в Москве это ощущение улетучилось. Правда, чем оно сменилось, было непонятно. Антон об этом молчал, а она не спрашивала, потому что сама не смогла бы ответить на этот вопрос.

— Никогда ты никому ничего не объяснишь. — Таня последний раз щелкнула ножницами и полюбовалась тонкими темными стрелками, в которые превратилась Нэлина челка. — Тебя от пластмассовых гирлянд кислотных с души воротит, а десять человек на улице останови, семеро скажут, что им нравится и надо к каждой автобусной остановке такие цветики прицепить.

В умственных тонкостях Нэла была проницательнее, но резоны человеческого поведения Таня знала лучше. Не чувствовала даже, а именно знала: ее детство прошло в той части жизни, где поведение людей не определяется ни нормой, ни даже логикой, поэтому оно не составляло для Тани загадки.

Правда, ни действия посторонних людей, ни тем более их мотивы не представляли сейчас для Нэли интереса. Ее собственная жизнь находилась в состоянии едва установившемся или даже не установившемся вовсе, и внешний мир она воспринимала лишь как некое подобие купола: можно под ним жить — и спасибо, а уж какие узоры по нему вьются, не важно.

Таня была лучшим стилистом, какого ей приходилось видеть, и дело было не только в ее редкостном образовании или стажировках в Париже и Лондоне. Первую прическу она сделала Нэле в день их знакомства, когда была просто тощим деревенским подростком с настороженным и любопытным блеском в глазах и никакого образования у нее не было в помине. Хвостики и перышки, которые она в одну минуту устроила тогда у Нэлы на макушке, сделали весь Нэлин облик необычным и жизнерадостным. Именно такой она в то время и была, но удивительно, что тогдашняя Таня поняла это с одного взгляда и сумела проявить в прическе.

— И что же с этим делать? — спросила Нэла. — С гирляндами пластмассовыми и прочим подобным.

— С гирляндами ничего ты не сделаешь, — усмехнулась Таня. — Сами отсохнут, когда их поливать перестанут.

— Но их же поливают.

— Я и говорю, ничего с ними до поры до времени не станется. Не обращай внимания.

Хлопнула входная дверь, в коридоре грохнулось об пол что-то тяжелое, и в комнату вошел Алик.

«Хорошо тебе, — подумала Нэла, бросив на Таню быстрый взгляд. — Ты уж точно ни на какие гирлянды можешь внимания не обращать».

Таня при виде Алика не вскрикнула радостно, даже не заулыбалась, но по тому, как переменилось выражение ее глаз, только слепой бы не понял, что она счастлива. Это было то же счастье, которое Нэла видела теперь в облике своего брата; одной из главных его примет являлась мгновенная распознаваемость.

— Что это ты притащил? — спросила Таня.

— А такие железные штуки, костюм на Хэллоуин из них сделаю, — ответил Алик. — Мы с пацанами по поселку будем ходить и всех пугать, пока не откупятся.

— Или пока по шее не накостыляют.

— Ни фига. Мы убежим.

Он был так похож на Вениамина Александровича, что обычные подростковые слова и интонации

казались в его голосе странными. Хотя, если присмотреться, то становилось понятно: да, глаза похожи, такие же темные и глубокие, но вместо отцовского соединения мужества с печалью в них искорками посверкивает одна только бесшабашность.

— У тебя олимпиада завтра, помнишь? — сказала Таня.

— Ага, — кивнул Алик. — И чего?

— Так готовиться же надо, наверное.

— Не-а. — Он помотал головой. — В смысле, уже подготовился.

— Да? — усмехнулась Таня. — А Ваня говорит, ты уравнения не все прорешал.

— Которые мог, все прорешал! — возмутился Алик. — А остальные с ним, когда он с работы вернется.

— Когда он с работы вернется, то обедать будет, — возразила Таня. — И мы все тоже. Подождешь полчаса? — спросила она у Нэлы. — Щи, перцы фаршированные и пирог с малиной.

— Не успею, — с сожалением ответила Нэла. — В театр иду.

— Могу и отдельно тебя покормить. Перед театром.

— Не надо, — отказалась она. — Ты, Тань, такие штуки теперь выстряпываешь, что перед театром их есть нельзя, а то уснешь.

— Это смотря в каком театре, — заметила Таня. — Мы недавно на «Евгения Онегина» ходили, на Сретенку, лавки там как в электричке, и то электричек таких уже нету вроде. Даже у меня спину заломило, а Ванька вообще разогнуться не мог.

— Это чтобы зритель помнил, что он не в спа! — засмеялась Нэла.

— Да уж, не перепутаешь. Только мне прямо назло хотелось уснуть.

— Потому что ты не любишь, чтобы тебя к чему-то принуждали.

— Можно подумать, ты любишь!

— И я не люблю, — согласилась Нэла.

Алик поднялся на второй этаж, грохоча по деревянным ступенькам, и из его комнаты сразу донеслась грохочущая же музыка.

— Ты с Антоном в театр идешь? — поинтересовалась Таня.

— Нет. Я девчонку одну встретила, Олю Андрееву, мы с ней когда-то в художественную студию ходили. То есть она теперь не девчонка уже, конечно. Пригласила на спектакль, к которому декорации делала.

Все это никак не объясняло, почему Нэла идет в театр без Антона, но Таня объяснений не потребовала. Она убирала инструменты в металлический чемоданчик и была, кажется, озабочена только тем, чтобы не уронить на пол английские ножницы, которые, если их уронить, станет больше невозможно использовать; лет пятнадцать назад Нэла с удивлением узнала эту особенность дорогих Таниных ножниц.

А может, не потому Таня не расспрашивала ее об отношениях с Антоном, а потому что знала, что Нэле нечего ответить на такие расспросы.

От того, что эти отношения установились теперь в каком-то странном виде и их будущее было непонятно, казалось, что у них нет и прошлого. Но прошлое было, конечно — может, в нем-то неясность будущего и заключалась, и даже наверняка в нем.

Глава 12

Только сейчас Нэла поняла, что никогда не видела такой реки, как Рейн. Не потому что Рейн был широким — здесь, в Линце, он выглядел, пожалуй, не шире Москва-реки. Дело было в чем-то другом, но в чем, она никак не могла понять.

Нэла сидела на лавочке у берега и смотрела, как по течению и против идут корабли и баржи. Они не шли даже, а летели по играющей под солнцем реке, и в их стремительном движении, и в струящейся воде, и в молодых листьях платанов на аллее вдоль берега было так много весны и жизни, что уныние, в которое Нэла погружалась весь год, немного отступило.

Да, весь свой первый учебный год, уже завершающийся, она все глубже погружалась в уныние. Это состояние было для нее так необычно и непривычно, что объяснений для него она в своем коротеньком жизненном опыте не находила.

С одиночеством оно уж точно не было связано. Какое одиночество! Нэла в первые же недели передружилась со множеством людей и в университете, и в общежитии; при ее характере это вышло легко.

Учеба тоже не представляла труда, потому что язык она знала лучше любого из студентов подготовительного отделения. Ей и подготовительное вообще-то было не нужно, но для иностранцев оно являлось обязательной ступенью учебы.

На Рождество приезжали к ней в Бонн родители, а на Пасху брат, и этих встреч было достаточно, чтобы не тосковать по родным.

В общем, никакого уныния не должно было быть, но оно было, и что с ним делать, Нэла не понимала.

— А знаешь, я думаю, ты просто должна немного побыть наедине с природой, — сказала Марион. — И тогда твое настроение улучшится.

Теннисный корт, с которого они как раз вышли, находился в боннском парке Райнауэ, в котором природы было гораздо больше, чем во всей Нэлиной московской жизни. Об этом она и сказала подружке, добавив:

— Природа вообще не влияет на мое настроение. И в Бонне ее вполне достаточно.

— Но все-таки я буду рада, если ты проведешь следующие выходные в моей квартире в Линце, — сказала Марион. — Это как у вас дача. Линц совсем близко, это маленький городок, и старинный, и красивые окрестности. Ты увидишь.

Отказаться было бы неприлично, да и с какой стати? Нэла была любопытна, несмотря даже на уныние.

Оказалось, что Марион имела в виду именно то, что сказала: сама она ехать в эти выходные в Линц-на-Рейне не собиралась, а Нэле дала ключи и сообщила адрес.

В доме, по узкой деревянной лестнице которого Нэла поднялась в мансарду, раньше жила бабушка Марион, а до нее прабабушка, а до нее прапра, и далее до пятнадцатого века. Трудно было представить, что в таком доме люди жарят котлеты, забавляют детей, играют на пианино, но это было именно

так — и смех ребенка слышался за стеной, и пианино стояло в углу маленькой комнаты, в которой пахло старым деревом. Нэла приоткрыла окно на потолке между темными дубовыми балками, и стали слышны звуки шарманки, на которой играл старик, стоящий внизу на пестрой фахверковой улочке.

Оставив в квартире дорожную сумку, Нэла вышла на улицу, послушала шарманщика и, завернув за угол, направилась к городской площади, разглядывая дома; прежде она видела такие только на картинках к сказкам братьев Гримм. Ей казалось, что она попала внутрь музыкальной шкатулки.

На длинной скамейке, полукругом отделяющей от улицы маленький сквер, сидели, болтая, пожилые дамы. Рядом с ними сидела еще одна дама, бронзовая. Вернее, это была не дама, а крестьянка с корзиной, в которой лежали яйца и масло.

— Бабушка, она все это купила? — спросил, указывая на бронзовую корзину, мальчик лет шести.

— Нет, милый, она привезла все это продавать. Двести лет назад она жила в деревне на берегу и рано утром в субботу приходила в Линц на рынок пешком.

— А почему она не приезжала поездом? — с интересом спросил мальчик.

— Тогда вдоль Рейна еще не ходили поезда.

— А почему она не приплывала на лодке? — не отставал он.

— У нее не было денег, чтобы заплатить лодочнику. Сначала она должна была продать то, что принесла в своей тяжелой корзине, и тогда на обратном пути, может быть, нанять лодку, если торговля окажется удачной. Она всю жизнь работала, мой дорогой. — Бабушка достала из сумочки яблоко и дала мальчику. — И за это наш город поставил ей памятник.

Нэла слушала вполуха — прописные истины не могли развеять ее тоску. И Линц этот сказочный не мог, и Рейн, на берег которого она, обойдя весь городок, вышла через ворота в старинной, сложенной из огромных камней городской стене.

Все было хорошо в Нэлиной жизни, и вокруг было прекрасно, и невозможно было понять, почему мир снаружи и мир внутри нее сделался таким тусклым.

Когда она вернулась к дому, уже сгущались сумерки. Но весенняя уличная жизнь стала лишь более оживленной: люди сидели за столиками на тротуарах, звенели бокалы, волны смеха плыли над булыжной мостовой. Пройдя между двумя столиками, Нэла достала из кармана ключи — один из них, от квартиры, был обыкновенный, а второй, от дома, старинный или, может быть, сделанный под старину. Этот длинный ключ не вставлялся в замок, Нэла дергала его и вертела, но никак.

— Дай-ка я открою, — вдруг услышала она.

Слова прозвучали неожиданно, но голос… В его звучании, во всех его интонациях ничего неожиданного не было, это Нэла поняла сразу, и даже не поняла, а почувствовала внутри себя как мгновенную огненную вспышку.

Она обернулась и протянула Антону ключ — молча, потому что не могла произнести ни слова. Витрины, окна, лампы на подоконниках и свечи на столах, фонари и фонарики ярко блестели и переливались у него за спиной.

Когда он вставлял ключ в замок, руки у него не дрожали, но он был очень взволнован, она это видела, а вернее, чувствовала.

Антон открыл дверь, и они вошли в дом.

— А как ты узнал, что я здесь? — спросила Нэла, когда поднимались по лестнице в мансарду.

Ей хотелось произнести что-нибудь такое, что вернуло бы происходящее в область обыденности, слишком уж оно было невероятно.

— Приехал в Бонн, пошел в универ, там узнал, где твоя общага. Пошел в общагу, там сказали, ты уехала в гости к Марион. Дали телефон этой Марион, она сказала адрес, и я по нему приехал.

Во всем этом действительно не было ничего необыкновенного, разве только то, что Марион сообщила адрес незнакомому человеку. Что он ей для этого сказал, интересно?

Нэле в самом деле было это интересно, любопытство так и бурлило в ней.

Вошли в квартиру.

— Интересно тут, — сказал Антон, обводя взглядом комнату. — Ого, сундук какой! Открыть можно?

— Не знаю, — ответила Нэла. — Наверное, можно, если не заперт.

Сундук заперт не был, в нем оказалось выглаженное постельное белье, поверх которого лежали полотняные мешочки. Комната сразу же наполнилась нежным травяным запахом.

Они стояли над открытым сундуком, как будто этот запах заворожил их, затуманил им головы. Наконец Антон посмотрел на Нэлу.

— Я по тебе сильно скучал.

Он быстро провел пятерней по вихру надо лбом. Глаза его были темнее, чем полумрак комнаты, но при этом блестели, будто в каждом горело по лампочке.

С сумасшедшего корабля в Гамбурге они сошли в июне, а теперь был апрель, поэтому вряд ли стоило верить, что он скучал, к тому же сильно. Нэла и не поверила. Но радость от того, что он смотрит на нее блестящими от волнения глазами, была такой ясной, что все остальное не имело значения.

Его появление, просто появление, избавило от уныния мгновенно, без всякой разумной причины.

— Ты поездом приехал? — спросила Нэла.

— Почти.

— Как это почти? — удивилась она.

— На попутных.

Стихотворение про птицелова, который с песней, птицей и котомкой идет вдоль по рейнским берегам, снова вспомнилось ей, как когда-то на корабле, и она засмеялась. Антон шагнул к ней и поцеловал ее. Это было так неожиданно, что она замерла. Хотя неожиданным было бы, наверное, если бы он этого не сделал.

— Правда скучал, ты не думай, — сказал он. Его губы еще касались ее губ. — Просто я был страшно

злой. Что б хорошего, если бы к тебе таким заявился?

— Почему ты был злой? — спросила Нэла.

Его волнение передалось ей, она чувствовала, как вздрагивают ее плечи под его ладонями.

— Ничего у меня не получалось потому что. Язык не давался и вообще… Не мог к Германии привыкнуть.

— А теперь?

— Что теперь?

— Привык?

— Не.

— Так почему же?..

Его глаза были совсем близко от ее глаз, но от этого не становились ей понятны его мысли.

— Потому что к тебе решил поехать. Сразу все на свои места встало. Как с резьбой, знаешь? Крутишь вправо, а резьба левая, и ничего не получается. Наконец догадаешься, влево крутнешь — и пойдет.

Она понятия не имела, как обходиться с резьбой, но зато поняла другое — как просты его мысли. Она

потому и не понимала их, что привыкла к мыслям сложным, разветвленным. А у него были не мысли даже, а прямые стремления, в этом была его сила, и это влекло ее к нему. И это… И это тоже…

Еще минуту они целовались, стоя над открытым сундуком, а потом блестящие кольца завертелись у Нэлы перед глазами, и она уже не сознавала, что делает, и не пыталась сознавать, и что Антон скучал о ней очень сильно, больше не вызывало у нее сомнения, и даже страха не было, хотя страх-то уж точно должен был быть, потому что все происходящее сейчас происходило с ней впервые. Ей было больно и неловко, но вдруг оказалось, что главное в ней — то, что всю ее и составляет, что было ею всегда, — сильнее, чем боль и неловкость, которые она чувствует сейчас.

Это не была разница между телом и духом. Когда Нэлина голова лежала на сгибе Антоновой руки и она затылком чувствовала, как вздрагивает жилка у его локтя, — это было таким же физическим ощущением, как минутой прежде физической была

разрывающая боль у нее внутри. Биение этой жилки, совпадающее с биением ее сердца, было ею самой, всей ею, а не только телом ее и не только духом.

Они одновременно почувствовали усталость — он от дороги, длившейся сутки, а она от сильного потрясения — и одновременно уснули прямо поверх одеяла. И проснулись тоже одновременно, или Антон проснулся раньше — Нэла видела во сне его взгляд, но, может, это не снилось ей, а просто он смотрел на нее спящую.

Лежа, он взялся за прутья железной кровати, несколько раз подтянулся, как на турнике, и предложил:

— Пошли погуляем?

Ему скучно было лежать просто так, без движения.

Спали всего несколько часов, и до рассвета, даже весеннего, было еще далеко. Луна ярко светила в окно на крыше, от этого света и проснулись, наверное.

— Пойдем, — кивнула Нэла.

В ночном городе ощущение сказки было таким явственным, что казалось, из соседнего дома сейчас выйдет то ли ведьма, то ли рыцарский дозор. Нэла непроизвольно взяла Антона за руку. Если бы он спросил, она постеснялась бы сказать, что боится ведьм и средневековых рыцарей, но он не спрашивал. Когда вышли из переулка на главную улицу — здесь витрины магазинов и кафе все-таки напоминали о настоящем времени, — глупая опаска прошла, и она его руку отпустила.

— Постой-ка, — сказал Антон.

Он достал из кармана куртки бумажный пакет, вынул из него обкусанный ломоть хлеба и затолкал в рот, пробормотав:

— Ижвини… Щас…

— Ты же с дороги не ел! — воскликнула Нэла. — И потом…

Что «потом», она не договорила — щеки вспыхнули от воспоминания о происходившем в мансарде, и хорошо, что ее смущение не было заметно в темноте.

— Да ладно. — Антон прожевал хлеб и махнул рукой. — Не умираю же.

— Совсем не ладно. Пойдем что-нибудь поищем.

— Не надо! — проговорил он быстро и сердито.

Но Нэла уже шла по улице, и ему пришлось пойти за ней следом.

Ночью город будто вымер, ни одно кафе не работало, ни один магазин. Наконец нашлось освещенное окошко в первом этаже, в окошке улыбчивый турок и горячий дёнер.

— Тебе с говядиной или с курицей? — Нэла обернулась к Антону. — Острый делать или не очень?

— Никакой не делать, — буркнул он.

— Почему? — удивилась она.

— Сыт, сказал же.

— Тебе должно быть стыдно меня стесняться, — сердито проговорила Нэла. — Близкие люди не считаются, кто кого накормил.

— Но и за чужой счет не жрут, — вздохнул он. И, заметив, как сверкнули ее глаза, поспешно уточнил:

— В смысле, близкие не для того нужны, чтоб у них еду просить.

— Когда-нибудь ты будешь меня кормить в каждом придорожном трактире, — сказала она. — И я от этого стану толстая, как дёнер с курицей.

Антон посмотрел на нее молча и, ей показалось, испытующе, потом сказал:

— С мясом. Острый.

Он съел огромный дёнер в три укуса, подставляя ладонь, чтобы кусочки мяса и листья салата не падали из разрезанной лепешки на мостовую, слизнул соус с пальцев и спросил:

— Правда всегда будешь со мной есть?

— Правда, — со всей возможной серьезностью ответила Нэла.

И тут же рассмеялась, конечно.

Они выпили кофе из бумажных стаканчиков и пошли к городским воротам. Выходя из них, Антон приостановился.

— А это что там за черточки?

Как он разглядел в тусклом свете фонаря, непонятно, но черточки на стене у ворот действительно были. Подойдя поближе, Нэла прочитала, что это отметки, до которых в разные годы поднималась вода при разливе Рейна. Отметка трехсотлетней давности имелась тоже.

— Чего ж они так близко к реке город построили? — удивился Антон. — Глянь, какой уровень был — все дома в воде стояли. Хотя у них, конечно, места тут в Германии не избыток, особо не повыбираешь, где строиться.

Может, он был прав, может, какие-нибудь другие были причины для того, чтобы построить этот сказочный городок у самой реки; Нэла об этом не думала. Он взял ее за руку, на этот раз сам, она почувствовала, какие широкие у него пальцы. Ни с кем никогда она не ходила за руку, только в детстве, быть может; ощущение это было странным и сильным.

Из ворот вышли на платановую аллею.

— А что вон на том доме написано? — на этот раз заметила Нэла. — Пойдем посмотрим.

Несмотря на переполнявшее ее счастье, а может, как раз благодаря ему, ее любопытство только усилилось. Все чувства усилились, ну и любопытство тоже.

Дом, на котором она увидела мемориальную доску, стоял поодаль. Буквы тускло поблескивали в лунном свете.

— В этом доме начинается действие повести «Ася» великого русского поэта Тургенева, — сразу переводя на русский, вслух прочитала Нэла.

Ей вдруг показалось удивительным, просто невероятным, что именно здесь случилась та давняя бестолковая и драгоценная любовь, и на этом берегу влюбленный садился в лодку, чтобы плыть к Асе, и так же блестела тогда река под луной и вздрагивали листья платанов. Она боялась заплакать, и поэтому засмеялась.

— Разве Тургенев поэт? — сказал Антон. — Писатель же вроде.

По его спокойному голосу было ясно, что для него эта надпись не значит ничего, и вряд ли он слышал про какую-то Асю, и даже кто такой Тургенев знает лишь приблизительно. Но он так успокаивающе и быстро сжал Нэлины пальцы, что она поняла: неважно, знает он про Асю или нет, но ее, Нэлино волнение чувствует точно.

— И поэт тоже, — сказала она. — «Утро туманное, утро седое…».

Она пропела эти слова, и несильный ее голос сразу растворился в воздухе над рекой, как будто стал этим воздухом, в котором не было ни снега, ни печали, но все остальное было — и страстные речи, и взгляды, так жадно, так робко ловимые, и милого голоса звуки любимые; все было в этом воздухе и в быстром движении, которым Антон притянул Нэлу к себе.

— Ты же замерзла, — сказал он. — Почему оделась так легко?

— Я ведь не думала ночами гулять, — ответила она. — Ничего теплого с собой не взяла.

Он расстегнул, а потом застегнул молнию так, что Нэла оказалась внутри его куртки. Идти при этом стало невозможно, и они замерли посреди аллеи, как будто стали одним существом.

— Ты бы мне хоть что-нибудь про себя рассказал, — сказала Нэла. — Учишься ты?

— Приходится, — ответил он.

— Приходится?

— Ну а кто б меня иначе в Германии оставил? Язык на подготовительном учу.

— Получается?

— Деваться некуда.

Еще на корабле он рассказал, что живет в Нефтеюганске, что мать с отцом приехали туда, когда его старшему брату было три года, а он уже там и родился, что брат погиб на нефтяной вышке, отец спился и умер, а он так не хочет, потому и обрадовался, когда дядька, отцов брат, сказал, что после армии устроит его учиться в Германию. По пути в Гамбург настроение у него было совсем другое, чем сейчас, и невозможно было тогда представить, что

он станет описывать свою жизнь такими словами, как «приходится» и «деваться некуда».

Прижатая к его груди курткой, Нэла смотрела Антону прямо в глаза. Наверное, от этого ее взгляд показался ему слишком испытующим.

— Характер у меня, понимаешь… — В его голосе мелькнули виноватые интонации. — Дядька говорит, из Романова все такие.

— Какие — такие?

— К спокойной жизни не подходящие. Страха у нас нет. Там же, в Задонщине этой, никто жить не хотел. Половцы, набеги — кому охота? Ну вот только такие, как я, и оставались.

Про степной городок Романов Нэла знала, пожалуй, уже больше, чем он. Про царский указ — что если кто церковь пограбит или у мужа жену уведет, то может идти в вотчину к боярину Романову и оттуда выдачи не будет, — она прочитала в первую же свою неделю в Бонне; в университетской библиотеке были книги об этом. Она тогда думала только об Антоне, ей казалось важным, даже главным все,

о чем он упоминал лишь мельком, и она эти книги нашла.

— И что ты собираешься делать? — спросила Нэла.

— Нэл… — Антон замолчал, потом вдохнул и выпалил: — Выходи за меня, а? Ты не думай, — быстро добавил он, — я не сломаюсь. Всего добьюсь, все у тебя будет.

Он говорил такую ерунду, что Нэла рассердилась.

— Это все, что ты можешь мне сказать? — спросила она.

— А что еще?

Его взгляд стал растерянным.

— По-твоему, замуж выходят для того, чтобы все было?

— А…

Наверное, он хотел сказать «а для чего же?», но догадался, что это рассердит ее еще больше. Она за-

вела руку себе за плечо и стала дергать язычок молнии. Антон расстегнул куртку, и она высвободилась из его объятий.

— Ты мне ни слова не сказал! — воскликнула Нэла. — Вообще ни единого человеческого слова!

Он молчал, глядя себе под ноги. Еще минута, и она побежала бы прочь по аллее. Но Антон наконец поднял глаза.

Насколько мало он умел выражать свои мысли словами, настолько много выражал его взгляд. Это было странно для Нэлы — слова значили для нее очень много, в них вмещался весь мир. И вдруг оказалось, что жизнь имеет какое-то другое выражение, непривычное для нее, но гораздо более сильное, чем она могла предположить. И более того она поняла: слова могут лгать, но то, что она видит сейчас в глазах Антона — сплошная и ясная правда.

Глава 13

Декорации, сделанные Олей Андреевой к антрепризному спектаклю, Нэле понравились, но сам спектакль оставил ее равнодушной. Он был поставлен по сценарию голливудской комедии, и поставлен изобретательно, но по сути являлся тем, что называется спектакль-аперитив, то есть сделан был для того, чтобы респектабельные люди могли приятно провести полтора часа перед ужином в респектабельном ресторане, не обременяя себя ни чрезмерными чувствами, ни излишними размышлениями. Нэла распознавала такое с первой же сцены, такие спектакли ставились в любой богатой столице, и Москва не оказалась исключением.

Но компания, в которую Оля зазвала ее после премьеры, не старалась выглядеть респектабельной. Показной богемности тоже не наблюдалось — не было в этой компании странных типов маргинального вида, все улыбались открыто и доброжелательно, шутили остроумно, смеялись весело, одеты были дорого и неброско. У выхода из театра

на Тверской после спектакля собрались, решая, куда пойти, человек семь, а потом, когда этот вопрос был решен, в ресторанчике на Рождественском бульваре людей оказалось уже побольше, потом стало поменьше, потому что кто-то ушел, потом снова побольше, потому что кто-то пришел. В общем, и эта переливчатая компания, и пестрый ресторанчик под названием «Раешник», и его посетители были такие же, как в Париже или в Берлине, или почти такие же.

«Раешник» располагался в полуподвале со сводчатым потолком и стенами из старого кирпича. Фриз был расписан в духе наивной живописи сценками из представлений народных театров. Были на этих картинках Петрушка, Арлекин и Коломбина, и немецкий Ганс Вурст, и испанский Грасьосо — в общем, по всему было понятно, что сюда ходят люди не простые, но и не то чтобы богатые, а такие, которые составляют самую соль мегаполиса.

Выяснилось, что алкоголя не подают, это Нэлу удивило. Не так уж ей хотелось выпить, но «Раешник» совсем не выглядел школьной столовой.

— Они лицензию на алкоголь никак получить не могут, — объяснил Олин муж.

— Как же они открылись без лицензии? — не поняла Нэла.

— Открылись с лицензией, они уже пять лет здесь. Но теперь ее велели заново всем получать, а это дорого и волокита.

— Зачем тогда велели заново, раз волокита?

— Не бери в голову. — Он улыбнулся беспечной улыбкой. — Это необъяснимо. А нам что? Мы при совке их дурацкие законы обходили и сейчас обойдем.

Он был постарше Нэлы, поэтому в самом деле помнил, наверное, те времена, когда дурацкие законы не меняли, а обходили, но веселая гордость, с которой он об этом сказал, почему-то была ей неприятна.

Впрочем, компания была по всему понятная, и брать в голову такого рода глупости действительно не стоило. Тем более что бутылки вина и виски появились на столе мгновенно и никто не собирался их отнимать.

Спектакль не обсуждали — болтали обо всем понемногу, а в общем, каждый говорил о своем: о фильме, который недавно снял Кончаловский, о природе зла, которую он в этом фильме исследует, о надоевшем всем ремонте улиц, на которых чертову плитку меняют уже третий раз за год, о литературном журнале, который Аллочка открыла в Барселоне и который сразу же сделался модным, о распродаже в Сохо, на которой Марина за сто долларов без примерки купила Андрею пальто, стоящее вообще-то тысячу, о новом начальстве на единственном культурном телеканале, удастся ли с ним найти общий язык, о сценарии для сериала про Октябрьскую революцию, который почему бы и не написать, раз заказывают… Все было понятное, и все было чужое. Нэла почувствовала себя чужой так неожиданно и так остро, что почти растерялась.

«Почему вдруг? — подумала она. — Я тоже купила пальто на распродаже, только не в нью-йоркском Сохо, а в лондонском, я знаю Аллочку, я чуть не сломала сегодня ногу на ободранном под плитку

тротуаре, и даже сценарий о революции мне хотят заказать тоже, для французского канала…».

Да, ощущение собственной чуждости было странное, необъяснимое. Хорошо, что Марина — та, которая купила мужу пальто, — отвлекла Нэлу каким-то вопросом.

— А? — вздрогнув, как неожиданно разбуженная старушка, переспросила она.

— Спрашиваю, ты фильм Кончаловского посмотрела уже? — повторила Марина.

— Нет, — машинально ответила Нэла. — И не собираюсь.

Если бы она не впала в дурацкое оцепенение, то, наверное, подумала бы, стоит ли это говорить, но от неожиданности сказала, и теперь не увильнуть было от того, чтобы отвечать на следующий неизбежный вопрос.

— Почему? — удивилась Марина. — Совершенно не старческий фильм, не думай!

— Я и не думаю, что он старческий, — пожала плечами Нэла.

— А почему тогда смотреть не собираешься?

Это спросил уже ее муж Андрей. Пальто из Сохо висело рядом на прикрепленной к стене вешалке, он достал из его кармана очки и, надев, пристально посмотрел на Нэлу.

Пришлось ответить:

— Мне не интересно, что думает Кончаловский.

— О природе зла? — не отставал Андрей.

— О ней особенно.

— Почему?

«Да что ты ко мне привязался? — рассердилась Нэла. — Думай как себе знаешь, с какой стати я должна тебе объяснять?».

— Так почему же? — повторил он.

Лицо его при этом приобрело такое упрямое выражение, что понятно было: уйти от ответа не удастся.

— Потому что он хорошо пристроился ко злу и ради этого готов его оправдывать, — сказала Нэла. — Всей силой своего таланта.

— Это ты так считаешь, — хмыкнул Андрей.

— Я и не говорю, что так считаешь ты.

— Так было всегда. — Его лицо сделалось теперь просто каменным. — От того, что художник будет жить в нищете, зло не уменьшится. И, кстати, еще спорный вопрос, зло ли это.

— Что спорный вопрос? Надо ли в Москве третий раз за год плитку перекладывать?

— Если бы не перекладывали плитку, эти деньги просто разворовали бы.

— Ты считаешь, это нормально?

— Это так. И никогда не будет по-другому.

— Правда, Нэлка, нельзя быть такой категоричной, — заметила Марина. — В Германии при Гитлере тоже кино снимали. А что, всем в концлагеря надо было идти? Ты в своих заграницах перестала понимать, как у нас жизнь устроена. Здесь же всегда так было, — снисходительным тоном добавила она. — Хоть при Иване Грозном, хоть при Сталине, хоть сейчас. Такая страна.

— Южная Корея тоже была такая страна, — сказала Нэла. — А теперь другая.

Она чувствовала невыносимую досаду от того, что произносит банальности и позволяет разговаривать с собой как с наивной дурочкой. Но что было делать, чтобы не позволить? И так уже возникло из-за нее за столом ненужное напряжение, это глупо, неуместно.

Но как же несправедливо считать ее категоричной! Да ей в голову не придет требовать, чтобы люди переделывали себя под ее вкус, и, может, с меньшей вероятностью это может прийти в голову ей, чем любому из сидящих сейчас за столом, стильно сколоченным из грубых досок.

По счастью, не только она, но и Марина с Андреем, кажется, не хотели продолжать этот разговор.

— Ой, Виктор Палыч! — вдруг воскликнула Марина. — Тоже в «Раешник» заглядываете?

Нэла сидела спиной к двери, и Марина смотрела ей за спину на кого-то входящего.

— Вай нот? — ответил тот. — Мы гуляем, зашли согреться.

Нэла узнала голос и обернулась. По ступенькам, ведущим от входной двери, спускался Кузнецов. Рядом с ним прыгала вниз на коротеньких лапах рыжая корги.

Он снял куртку, оставшись в светлом кашемировом свитере, сел на свободный стул и сказал:

— Здравствуйте, Нэла.

В том состоянии досады, в котором она находилась из-за никчемного разговора, ей показалось неприятным, что он поздоровался только с ней, когда за общим столом сидят человек десять. Вид у него при этом был подчеркнуто невозмутимый. С кем считаю нужным, с тем и здороваюсь, говорил этот его вид, мое дело.

Нэла кивнула Кузнецову и отвернулась. Но отворачиваться вообще-то было некуда — он сел ровно напротив нее, и надо было бы старательно вертеть головой, чтобы не встречать его взгляд.

Корги, запрыгнув на соседний с хозяином стул, стала с таким доброжелательным вниманием разглядывать Нэлу, что та невольно улыбнулась.

— Это Лиззи, — представил Кузнецов. — В честь королевы Елизаветы Второй.

Все стали восхищаться Лиззи, и вышло, что общее внимание, почти заискивающее, уделяется именно ей. Хотя неизвестно, привлекла бы такое внимание другая, не кузнецовская собачка, да и пустили бы сюда другую собачку вообще.

— Ну, рассказывайте, что интересного происходит в культурной жизни столицы! — весело предложил Кузнецов.

На этот раз он обратился ко всем одновременно, и одновременно же все включились в разговор, вернее, повторили для него то, о чем только что шла речь: спектакль по голливудскому сценарию, новый фильм Кончаловского, Аллочкин журнал… О пальто из Сохо и о перекладывании плитки, правда, говорить не стали.

Кузнецов заказал облепиховый чай, для Лиззи поставили на пол миску с водой, она выпила немного, потом снова взобралась на стул и завертела

головой с таким живым интересом, словно принимала участие в разговоре.

— Умнейшее существо, — видя общее внимание к корги, сказал Кузнецов. — На выставки на историческую родину летает, медали берет.

— Олимпийский резерв! — засмеялся Андрей.

— Для олимпиады по программированию тогда уж, — ответил Кузнецов. — Интеллект соответствует. А если лапу ей краской намазать, картину нарисует не хуже любого концептуалиста. Даже лучше. В Нью-Йорке можно будет продать. Правда, Нэла? — спросил он.

Досада от недавнего глупого спора уже прошла, и Нэла улыбнулась.

— Если куратора ей хорошего найти, то можно попробовать, — ответила она.

Как ни старались все сохранить беспечный тон, с появлением Кузнецова обстановка перестала быть непринужденной. С ним старательно общались, перед ним заискивали, но никто не считал его своим, это чувствовалось. Общий разговор затухал,

несколько человек выпивали на посошок, двое уже поднялись, чтобы уйти.

«Мы с ним оба оказались чужими за этим столом, — вдруг поняла Нэла. — Хотя между нами нет ничего общего. Как странно!».

Проститься со всеми сейчас было очень кстати, что она и сделала.

Рождественский бульвар был ярко освещен, лампочки сверкали на деревьях, превращая осенние листья в чистое золото, а туман вокруг каждой такой лампочки — в золотые же шары. От этого казалось, что идет какой-то нескончаемый праздник, и хотелось его во мгле, которая уже накрывала Москву, чтобы длиться всю осень и всю зиму, а может, и всю весну.

Что-то близкое сердцу было и в этой октябрьской мгле, и в детской потребности праздника, что-то, бывшее в душе еще до рождения.

Кузнецов окликнул Нэлу, когда она собиралась переходить дорогу, чтобы идти к метро не по раскуроченному тротуару, а по аллее посередине бульвара.

— Подождите нас! — крикнул он. — Мы с Лиззи не успеваем за вашей легкой походкой.

Пришлось ждать, не убегать же.

— Что это вы так скоро ушли? — спросил, подходя к ней, Кузнецов.

— Совсем не скоро, — ответила она. — Мы довольно долго уже сидели.

— И вам надоела компания?

— Почему вы так решили?

— По вашему лицу. Вы плохо умеете скрывать свои мысли.

— Я и не старалась скрыть свои мысли, — пожала плечами Нэла. — К тому же в этом не было необходимости. Они никого не интересовали.

— А вам и обидно!

— Нисколько. Действительно нисколько, — повторила она. — Это не обидно, но грустно.

— Что именно вам грустно?

Кузнецов смотрел с прищуром, как будто ему в самом деле важно было это знать.

— Не мне грустно, — уточнила Нэла. — Грустно, что люди перестали интересоваться кем-либо кроме себя. Как Иоыч.

— При чем тут Иоыч? — Удивление Кузнецова было непритворным. — Это же из школьной программы что-то?

— Ну да, — кивнула она. — С годами Иоыч деградировал, и это выражалось в том, что он переставал интересоваться другими людьми. Эта компания сегодняшняя, эти люди — лучшие, ну пусть условно лучшие, по образованию своему хотя бы, по положению в жизни. И они — не кто-то из них, а они как целое — перестали интересоваться другими.

— Кем — другими?

— Всеми, кто не они. Это очень плохо.

— Для кого плохо?

— Вообще плохо. Для страны.

— Вы это серьезно сейчас сказали?

— Конечно.

— Потрясающе! — воскликнул Кузнецов.

— Что вас так потрясло?

— Да вам-то какое дело до этой страны? — Он смотрел на Нэлу со все возрастающим интересом. — Вы в ней и не живете даже.

— Это неважно, где я живу.

— Очень даже важно. Ну вы меня удивили! — Он покрутил головой. — Красивая, более того, манкая женщина, только не говорите, что вы этого не знаете, — и что при этом в голове? Страна, Иоыч какой-то… Вам что, жить больше нечем? — Он обвел широким приглашающим жестом бульвар. — Осень золотая, красота кругом, мужчины на вас оглядываются — живите своей жизнью!

— Послушайте, — наконец рассердилась Нэла, — зачем вы затеяли этот разговор? Чего вы от меня хотите?

— Если я скажу, чего от вас хочу, вы обидитесь, — весело сказал Кузнецов. — Даже, может, по морде мне двинете. И хорошо еще, что у нас тут не Америка, а то и в суд бы на меня подали. Так что говорить я этого не буду. — Он окинул Нэлу странным

взглядом и добавил: — А Саблин меня не зря вами завлекал. Вы на самом деле интересная штучка.

Это прозвучало так неожиданно, что Нэла даже приостановилась. Антон завлекал ею Кузнецова?!

— В каком смысле… завлекал? — проговорила она.

— Не волнуйтесь, в постель мне вас не предлагал, — спокойно ответил тот. — Хотя если бы я поставил такое условие, кто знает… Нет, чего не знаю, того не знаю, предполагать не буду. А что вы родственница Гербольда, потомок, так сказать — это да, показалось мне забавным. Не решающим, конечно, но для затравки. Прадед построил, правнучка перестраивает — согласитесь, в этом что-то есть. Дом конструктивистский на Плющихе, — заметив наконец, что Нэла смотрит на него изумленно, объяснил он. — Его же ваш родственник построил, вы не знаете, что ли?

Господи, дом на Плющихе!.. После того вечера, когда Антон показал ей свой долгожданный заказ, она больше и не интересовалась тем домом. Просто

поразительно, насколько не интересовалась. Он словно попал в какое-то слепое пятно ее внимания, она даже не удосужилась почитать, что за дом такой, даже в Википедию не заглянула!

Это было так странно, так выпадало из ее обыкновения, что она как вкопанная остановилась посреди бульвара. Лиззи тут же остановилась тоже и уселась на мелкий гравий аллеи, поворачивая туда-сюда умильную мордочку.

— Да что вы в самом деле? — удивленно произнес Кузнецов. — Говорю же, никаких похабных предложений ваш супруг относительно вас не делал. Нашел чисто культурную зацепку: моя жена — правнучка того самого Гербольда. Мне интересно стало, захотелось на вас взглянуть, вы на меня произвели благоприятное впечатление, я подумал: почему нет? Пусть Саблин берет этот заказ. Всегда же так и получается, — пояснил он. — Личное общение — важный фактор. Муж ваш это знает.

— Да. Он знает, — с трудом проговорила Нэла.

Она не понимала, отчего ей противно — так, будто Антон в самом деле предлагал ее Кузнецову в обмен на вожделенный заказ. Такого не было, конечно, не было, наверняка не было, но… Такое могло быть, она понимала. Все, что она знала об Антоне, говорило ей об этом отчетливо и ясно.

— Виктор Павлович, мне пора идти, — сказала Нэла. — Хорошего вечера.

— Вы на машине? — поинтересовался Кузнецов.

— На метро.

— Ну дает Саблин! — воскликнул он. — Еще пешком бы жену ходить заставил! Может, зря я ему заказ отдал?

— Вам виднее, — ответила Нэла. — Всего доброго.

Она шла под переливчатыми фонарями и фонариками Рождественского бульвара, мокрый гравий ласково поскрипывал у нее под ногами, и на душе у нее было так тяжело, словно не огоньки вечного праздника, а лишь холод и мрак окружали ее.

Глава 14

Холода в этом году наступили рано — еще и октябрь не закончился, а небо уже опустилось так низко, словно снег вот-вот должен был прорвать мешок туч и высыпаться на землю.

Гербольд спешил вселиться в новый дом прежде, чем это произойдет.

Пожитки его были невелики, вернее сказать, их совсем почти не было, но кое-какую мебель он все же приобрел, и ее надо было доставить на Сокол до вселения, иначе в доме просто не на чем было бы ни спать, ни есть.

Вообще, с мебелью вышла заминка. Можно было, конечно, выбрать что-нибудь на Сыромятнических складах, там хорошей мебели было в избытке на любой вкус, и ордер на нее Гербольд получил бы. Но делать этого не стал после того как узнал ее происхождение. Поскольку до революции Москва жила таким образом, что на лето горожане

уезжали за город, то и были оборудованы специальные склады, на которые можно было сдавать вещи для летнего хранения. А когда в восемнадцатом году стали уезжать уже не на дачи, а в эмиграцию, то многие оставляли вещи там же, на Сыромятнических, полагая, что безумие не продлится долго и по возвращении они получат их в целости и сохранности. Эту мебель теперь и раздавали по ордерам, но получить такую мебель Гербольд не считал для себя возможным.

Выручила бывшая однокурсница Наташа Ябузова. Он случайно встретил ее на Тверском бульваре, неподалеку от своего архитектурного бюро, разговорились, и выяснилось, что Наташа теперь проектирует предметы быта, и проекты эти воплощаются, так что ее мебель можно не только увидеть на чертежах, но и заказать в мастерской, которая к тому же и находится неподалеку от Сокола, за Петровским парком. Все это вышло кстати, хотя сама встреча с Наташей сначала показалась совсем некстати, потому что та была в Гербольда влюблена

все время учебы во ВХУТЕМАСе, это знал весь курс, и сам он, конечно, тоже: она не могла, а может, и не хотела скрывать свое чувство.

И вот теперь он спешил забрать готовую мебель и доставить в свой новый дом.

К его неудовольствию, Наташа была в мастерской. Маловероятным казалось, чтобы она присутствовала при выдаче всех заказов, выполненных по ее чертежам; наверняка пришла сюда именно ради Гербольда.

Профессор Толковников когда-то сказал о Наташе: «Кто бы мог подумать, что у существа с такой эфемерной внешностью окажется такое уверенное дарование», — и это было в самом деле так.

О даровании свидетельствовала мебель, выставленная вдоль стен к приезду Гербольда. По всему своему виду стулья, письменный стол, шкаф и кровать были конструктивистскими — у Наташи и дипломный проект относился как раз к этому стилю, — однако вся это было удобно и отлично приспособлено для повседневной жизни.

Гербольд убедился в этом, посидев на стуле, похожем на скелет диковинного синего животного, открыв волнообразный шкаф со множеством толково расположенных полок, и положив руки на темно-зеленую поверхность письменного стола.

— И на кровати полежи, — предложила Наташа.

Ее голос при этих словах стал еще трепетнее, чем обычно, и Гербольд почувствовал неловкость, представив, как укладывается на широкую кровать, а она стоит рядом и ожидающе смотрит на него голубыми нежными глазами.

— Кровать хороша, и так видно, — сказал Гербольд. — А у меня сапоги в глине, запачкать могу. Спасибо, Наташа.

— Так можно отправлять? — спросила она.

— Конечно.

— Григорий сейчас придет и за полчаса упакует. А мы с тобой пока можем выпить вина, — предложила Наташа. — За мою успешную работу.

Тут Леонид сообразил, почему мебель не была упакована к его появлению — не для демонстрации

ее удобства, а лишь для того, чтобы он задержался в мастерской. Наташина невинная и, может быть, даже трогательная хитрость его раздосадовала. Все-таки она современная девушка, не пошлячка, не должна была бы прибегать к таким уловкам! А если учитывать ее дворянское происхождение, то не должна тем более.

Не было ничего особенного в том, чтобы полчаса провести за винопитием с однокурсницей, даже если не испытываешь к ней никаких чувств. Но Леонид по какому-то странному упрямству не мог заставить себя сделать эту малость. Общество Наташи, так явно не скрывающей своей влюбленности, было ему тягостно, и к тому же он понимал, что в разговорах за вином, во взглядах сквозь бокалы, в невольных улыбках все будет выглядеть многозначительно или во всяком случае будет именно так ею воспринято.

— Извини, Наташа, — сказал он, — работа в самом деле замечательная. Но у меня назначена

встреча с коллегой. Грузовик внизу стоит, грузчики ждут. Шофер знает, куда везти.

От необходимости лгать Леониду было не по себе, но он ощущал свою ложь именно как необходимость, которая состояла в том, чтобы не ввести Наташу в заблуждение ни в малейшей мере и сделать это как можно более деликатно. Жаль, что деликатность должна представать в образе лжи, но ничего не поделаешь.

Успокоив себя этим умозаключением, Леонид сбежал по лестнице вниз — мастерская располагалась на чердаке двухэтажного дома — и, сказав шоферу нанятой загодя машины, чтобы доставил мебель в поселок Сокол, где он будет ее ожидать, быстро пошел прочь, надеясь взять извозчика у выхода из парка.

Гербольд еще помнил Петровский парк в его роскошном виде — с дачами под железными крышами, с умно проложенными аллеями и живописными искусственными прудами. В девятнадцатом

году, когда он приехал в Москву и изучал ее с понятным любопытством провинциала, все это еще пребывало в дореволюционном состоянии, хотя и ветшало уже без ухода. Парк ему тогда понравился, и он предполагал, что будет приезжать сюда часто, но потом узнал, что год назад здесь публично расстреляли заложников — бывших царских чиновников и, кажется, священников, — и бывать в Петровском парке перестал, хотя признавал, что показательный красный террор был необходимой мерой на первом этапе становления молодого советского государства.

Поэтому теперь, шагая через парк, Гербольд оглядывал окрестности все равно что впервые.

Впрочем, они изменились настолько разительно, что так и можно было считать. В общем-то это было хорошо, потому что изменения были связаны с начавшимся строительством стадиона, но все-таки жаль было разрушенных летних павильонов, и засыпанных прудов, и вырубленных столетних деревьев.

Деревьев, впрочем, оставалось еще достаточно. Поодаль от главной аллеи под ними горели в туманной мгле костры, слышались голоса и конское ржание. Голоса были резкие, сердитые, надрывные и напоминали птичий грай. Как будто кто-то бросил камень в гнездо.

Через минуту это случайно пришедшее в голову сравнение стало более основательным. Раздался выстрел, еще один и еще, потом крик, мужской, потом женский, крик перешел в визг и от костров во все стороны бросились люди. Высокий мужчина в ярко-красной рубашке едва не сбил Гербольда с ног. Он держал на руках двоих детей, за ним бежала женщина, тоже с ребенком на руках, еще двое детей бежали самостоятельно, держась за ее юбку. По этой цветастой юбке, да и по всей внешности бегущих Гербольд понял, что это цыгане.

— Что случилось? — спросил он женщину.

Из-за детей та приотстала от мужчины, но в ответ на его вопрос испуганно вскрикнула, отшатну-

лась и, звякнув то ли монетками в косах, то ли браслетами на запястьях, пустилась быстрее. Дети оторвались от ее юбки, упали в грязь и заплакали.

— Да что же вы?! — крикнул ей вслед Леонид.

Цыганка не обернулась ни на детский плач, ни на его крик, а дети, когда он наклонился над ними, завопили так, будто он намеревался их зарезать, вскочили и, мелькая босыми пятками, бросились вслед за матерью.

Еще через мгновенье Леонида едва не смела целая цыганская лавина. Мужчины, женщины, дети, лошади мчались прямо на него, он едва успел отпрянуть в сторону и прижаться спиной к большому дубу.

Вслед за цыганами между деревьями показались трое в милицейской форме и еще один в кожаной куртке. Над его поднятой вверх рукой узко вспыхнуло пламя, сухо и резко щелкнул выстрел.

Через минуту милиционеры поравнялись с Леонидом. Тот, что стрелял, приостановился, будто увидел его боковым зрением, подошел к нему и спросил:

— Вы что тут делаете? Документы предъявите.

— Пожалуйста, — пожал плечами Леонид. И, протягивая свое профсоюзное удостоверение, на всякий случай уточнил: — Вы тоже из милиции?

— Уголовный розыск, младший оперуполномоченный Петров. — Он быстро изучил удостоверение и вернул со словами: — Проходите, товарищ Гербольд, не задерживайтесь.

— А что здесь происходит? — все-таки поинтересовался Леонид.

— Да цыгане вот, — ответил младший оперуполномоченный. — Чисто вши, не выведешь. С Нескучного сада погнали их, так они сюда перебазировались. Тут стадион строится, а тут они. Воровство, гадания, чуждые явления, короче.

— Но куда же им деваться, если нигде нельзя? — удивился Леонид.

— А пускай как все люди живут. На работу устроятся, — усмехнулся Петров.

— Все люди живут по-разному. И на какую же, интересно, работу возьмут цыганку с пятью детьми? — усмехнулся в ответ Леонид.

— А это не мое дело, — с неожиданной злостью бросил тот. — И не ваше, между прочим. Проходите, не задерживайтесь. Мы парк будем прочесывать.

— Уцелевших детей гонять?

Этот вопрос прозвучал в кожаную спину; Петров не обернулся.

Оставаться здесь, впрочем, не хотелось и без начальственных указаний. Леонид пошел к выходу из парка.

Из-за густеющих сумерек и из-за того, что не горели фонари, вдруг показалось, что он идет не через обычный городской парк, прежде даже аристократический, а через дремучий лес, что в лесу этом он совершенно один, и случись что, помочь будет некому. Это ощущение было странным, но очень сильным, оно вызвало такой мгновенный страх, от которого Леонида пронзила дрожь и сердце остановилось на несколько секунд. Никакого рационального объяснения этот страх не имел, но ощущение собственной беззащитности было таким острым, что

справиться с ним было невозможно. Леонид остановился и, чувствуя, как слабеют ноги, схватился за растущий у аллеи раскидистый куст. Шипы укололи ладонь — куст был шиповниковый — и эти мелкие уколы оказались кстати, помогли прийти в себя.

— Ч-черт…

Он вытер пот со лба, несколько раз шумно вдохнул и выдохнул, стараясь выровнять сердечный ритм. И в то же мгновенье совсем рядом, за кустом, раздался еще один вздох.

Если бы необъяснимый страх не обострил его чувства, Леонид едва ли расслышал бы его, так он был тих и так резко оборвался, будто кто-то зажал кому-то рот. Но чувства его были сейчас обострены просто-таки как у барышни из института благородных девиц, все он поэтому расслышал, а расслышав, повел себя совершенно уж необъяснимым образом: не обращая внимания на колючки, резко раздвинул ветки куста — и увидел прямо перед собой глаза. Они были темны, но блестели так, будто в парке, где

не горел ни один фонарь, откуда-то бил в них яркий свет.

— Здравствуйте, — глядя в эти невероятные глаза, сказал Леонид. — А я все время думал о вас.

И опять-таки, если бы он не впал так неожиданно во взбудораженное состояние нервов, то не произнес бы с ходу именно эти, унизительно сентиментальные слова.

— Здравствуйте, — сказала Донка. — Что же вы обо мне думали?

Без сомнения, это ее случайный прерывистый вздох он только что слышал. Но сейчас в ее голосе звучало спокойствие. Или, может, не в ее голосе Леонид его расслышал, а в себе самом — да, сам он почувствовал спокойствие при первых же звуках ее голоса.

— Я вас искал, — невпопад произнес он.

— Где же?

Ему показалось, что ее вопрос звенит отчужденностью, даже обидой, и он поспешно ответил:

— Во всех театрах. И в Мюзик-холле. Что в саду Аквариум, знаете?

— Знаю. Но это не те места, где меня можно было найти.

— Я везде искал, — с мальчишеской глупостью заверил Леонид. — В ресторанах, пивных…

Ему показалось, что теперь она обидится совсем и, пожалуй, уйдет, но она рассмеялась:

— Это уже теплее! Но теперь меня и в пивных не найти.

— Но почему?

— Да ведь я вам говорила, Леонид Федорович, забыли?

От того, что она помнила его имя, Леонида охватило такое счастье, что он улыбнулся блаженной, от уха до уха улыбкой. Она же, наоборот, нахмурилась.

— Я говорила, что останусь без работы. Так и вышло.

— Я и на актерской бирже искал, — зачем-то объяснил Леонид. — На Рождественке, угол Кузнецкого.

Он вспомнил экстравагантную толпу у подъезда актерской биржи, располагавшейся в первом этаже бывшего доходного дома — лилипутов, красавиц,

музыкантов с инструментами, дрессировщика с медведем, который просил милостыню, держа шляпу в когтистой лапе, — и то, как орал на них швейцар… Это было такое явное зрелище человеческого унижения, что Леонида и сейчас передернуло при воспоминании о нем.

— Зачем?

Донкины глаза сузились и сверкнули.

— Я хотел вас видеть. — Он расслышал собственные жалобные интонации, но даже не устыдился их. — Это меня мучило.

— Что вы хотели меня видеть?

— Что я не могу вас найти.

От этих его слов, в общем-то глупых, ее глаза снова сделались огромными и длинными, как лодки. Подобие улыбки, чуть живое, появилось на ее губах.

— Леонид Федорович, вы просто растеряны, — сказала она.

— Почему вы так решили?

— У вас все руки будут в колючках. И щеки. — Она отвела ветку от его лица. — Оставьте этот куст.

Он послушно опустил руки и сразу схватился за колючий шиповник снова, потому что за высвободившимися ветками исчезло Донкино лицо. Но она уже вышла из-за куста и остановилась в шаге от него.

Теперь он видел ее всю, не лицо только. Она похудела, от чего стала еще стройнее, хотя это, казалось, было уже невозможно, глаза блестели еще ярче, чем прежде, хотя невозможным казалось и это, а волосы, наоборот, потускнели, и только по этой единственной перемене не к лучшему, произошедшей с ней, можно было увериться в том, что она настоящая, живая женщина, а не выдуманный призрак какого-то невозможного идеала.

— Пойдемте отсюда, — сказала Донка.

И, не дожидаясь его ответа, пошла прочь так быстро, что он едва нагнал ее.

— Куда вы теперь? — спросил Леонид, когда вышли из парка. И, испугавшись, что она резонно заметит, что это не его дело, поспешно добавил: — Если нам по пути, мы могли бы вместе взять извозчика.

— Нам не по пути.

Ее голос был холоден, как лед, но именно поэтому Леонид расслышал, что этот лед не целен и что льдинки звенят в нем тоской и даже отчаянием. Растерянность его мгновенно улетучилась, и он сказал уже обычным своим голосом:

— Послушайте, Донка, я понимаю, что не могу претендовать на вашу откровенность, но все же мне кажется, вас что-то сильно гнетет.

Она была высокая, одного с ним роста, но, остановившись, смотрела на него не прямо, а исподлобья. Возможно, так казалось оттого, что взгляд ее был настороженным, даже мрачным. Она смотрела так едва ли не минуту в полном молчании, потом наконец проговорила чуть слышно и будто нехотя:

— Да.

— В таком случае, — сказал Леонид, — предлагаю обсудить это у меня дома.

Ее лицо исказила такая болезненная гримаса, что он похолодел. Как можно было сморозить такую бестактность?! Теперь она наверняка развернется и уйдет, и он не увидит ее больше никогда, потому что запас счастливых случайностей у жизни не бесконечен.

Но этого не произошло. Болезненная гримаса сменилась на ее лице совсем другим выражением. Как его назвать, Леонид не знал, но оно производило грустное впечатление: лицо ее, тонко и причудливо вылепленное, словно бы опало, застыло и потемнело так, что ему даже показалось, на нем проступила синева. Всякая жизнь ушла из этого лица.

— Хорошо, — чуть слышно произнесла она. — Пойдемте куда вам угодно.

Глава 15

Извозчика удалось взять только у «Стрельны». Леонид беспокоился, что Донка устала от долгого пути пешком, но так ли это, добиться от нее было невозможно. Она молча шла рядом с ним, безучастно смотрела перед собою и ни на один его вопрос не давала ответа ни по дороге до Сокола, ни когда вошли в его пустой новый дом.

— Извините, — сказал Леонид. — Я, может быть, опрометчиво предложил вам побеседовать здесь. Вы видите…

Он сказал это просто чтобы хоть что-то сказать. Показалось вдруг, что тишина и пустота его дома подействуют на Донку угнетающе.

— Не на что даже присесть, — пояснил он, будто это было не очевидно.

Она молчала, неподвижно стоя у порога.

— Но по крайней мере тепло, — совсем уж непонятно зачем добавил Леонид. — Я протопил с утра.

Он в самом деле приехал сюда утром и вытопил печь прежде чем ехать за мебелью. Но зачем ей об

этом знать? По всему ее виду понятно, что она равнодушна к подробностям его жизни.

— Пока есть только одежный шкаф в прихожей, его встроили в стену, — по какой-то странной инерции продолжая нанизывать ненужные фразы, сказал Леонид. — Позвольте ваше пальто.

Он протянул руку. Донка вздрогнула, как будто он хотел ее ударить, потом замерла, потом медленно расстегнула пальто, сняла и отдала ему. Это черное пальто было то же самое, что и в вечер их знакомства, но остальная одежда была на ней теперь совсем другая — пестрая красно-желтая юбка, из-под которой выглядывала фиолетовая оборка от другой юбки, пестрая же блуза, перетянутая алым кушаком. Ко всей ее внешности не шел этот кричащий наряд. Не будь он таким замызганным и убогим, Леонид счел бы его маскарадным, потому что в ней самой если и было что-нибудь кричащее, то лишь ее беззащитность, сделавшаяся сейчас такой явной.

Она стояла не двигаясь и по-прежнему не произнося ни звука. Леонид взял у нее пальто и, тоже молча, вышел с ним в прихожую. Когда он вернулся, Донка переменила положение — прижалась спиной к свежеоштукатуренной стене. В пустой просторной комнате на белом фоне этой стены нелепая пестрота ее одежды особенно резала глаз.

На лампочке не было абажура, поэтому свет казался чересчур ярким. В этом беспощадном свете стало заметно, что синева, которая, как Леониду показалось в парке, проступила на Донкином лице после его предложения поехать к нему домой, была на самом деле просто синяком. Синяк был большой, на всю левую щеку, и состоял из нескольких длинных пятен.

— Послушайте, — сказал Леонид, — прошу вас, отнеситесь ко мне с доверием. У вас что-то случилось, это понятно по всему вашему виду, и так же понятно, что случилось нечто малоприятное. Не знаю, смогу ли я быть вам полезен, но приложу к этому все усилия, поверьте.

Она не ответила, и он понял, что вопрос его был бессмысленным. Да он, собственно, и не задал никакого вопроса, лишь предложил ей описать свое положение, а ведь это не так уж легко сделать даже в спокойном состоянии духа.

Сообразив все это, Леонид спросил:

— Почему вы в цыганской одежде?

— Потому что я цыганка, — ответила она.

Голос ее прозвучал тускло, однако прозвучал наконец, уже хорошо.

— Но вы не носили такой одежды прежде, — заметил Леонид.

— Прежде не было необходимости.

— А теперь есть?

— Да… Я не знаю…

Она наконец взглянула на него. Взгляд был совершенно больной. Сердце у Леонида сжалось.

— Вас… заставили? — спросил он.

Донка помотала головой и снова опустила ее.

— Мне просто некуда было идти, — глядя в пол, сказала она. — И я пошла к отцу.

— Он цыган?

— Да.

— А мать?

— Нет.

— Ее нет, или она не цыганка?

— То и другое. Она не была цыганкой, и она умерла.

— Давно?

— Восемь лет назад.

— От чего?

— Убили.

— Как?

Леонид осекся, задав этот вопрос: отвечать наверняка мучительно для нее.

— Ах, да как могли убить в восемнадцатом году? — Донка обожгла его взглядом и поморщилась. — Очень просто. Поехала в деревню, одежду менять на продукты, тогда все ездили. У нее было разрешение, чтобы менять, но патруль сказал, что будто бы она не предъявила этой бумаги и спекулянтка. Вывели

из поезда и застрелили. Мешок муки забрали. Ну? — зло бросила она. — Что вас еще интересует?

— Я не из пустого любопытства. — Леонид постарался, чтобы голос прозвучал ровно, и это ему удалось. — Мне необходимо понимать ваше положение, иначе я ничего не смогу предпринять.

— Что же вы собираетесь предпринять для изменения моего положения? — усмехнулась Донка. — Не говорите ерунды, Леонид Федорович. Давайте вообще не будем об этом говорить. — Она тряхнула головой, русые волосы рассыпались по плечам и хотя не сделались такими яркими, как в первую встречу, все же блеснули в свете лампочки. — У вас действительно тепло. Я согрелась, благодарю.

— За что же?

Леонид улыбнулся, но, кажется, кривовато.

— После бардо особенно ценишь простые вещи. Месяца цыганской жизни для этого достаточно, — ответила Донка.

Он хотел спросить, как она оказалась в цыганском бардо, однако подумал, что ей покажутся назойливыми такие расспросы.

С улицы послышался рокот мотора. Что машина подъехала именно к его дому, Леонид понял только когда мотор затих прямо под окнами. Он совершенно забыл о мебели, которую должны были доставить, ему даже странным показалось, что могли его интересовать такие пустяки, как мебель.

От гула мотора и особенно от того, что машина остановилась возле дома, Донка дернулась, будто хотела бежать, а потом вжалась в стену, как перед расстрелом.

— Хозяин, открывай! — послышался за дверью хриплый голос.

— Это мебель, — поспешно объяснил Леонид. — Я заказал… грузчики… Это не займет много времени! — воскликнул он.

Ему вдруг показалось, что она сейчас в самом деле убежит. К чему ей вся эта суета, грубые эти голоса, и топот ног, и сквозняк, и обрывистые слова, которыми перебрасываются грузчики…

Но она не убегала, а так и стояла, прижавшись к стене, пока мимо нее проносили наверх, в кабинет и

в спальню, разобранные письменный стол, платяной шкаф и кровать, пока дрожал потолок от того, что на втором этаже все это собирали, то и дело что-нибудь роняя.

Указывая рабочим, где должна стоять мебель — для этого ему пришлось подняться наверх, — Леонид чувствовал, что сердце у него колотится от тревоги. Вдруг, пока его нет рядом, Донка неслышно выскользнет из дома и исчезнет в промозглой октябрьской тьме, навсегда теперь исчезнет?

Когда он сбежал обратно на первый этаж, не дожидаясь, пока соберут шкаф, Донка по-прежнему стояла у стены как соляной столп. Он остановился перед ней, уже не думая о том, что это может выглядеть в ее глазах неловко или даже назойливо. Она смотрела перед собою, но Леонид не был уверен, что она его видит. Болезненное впечатление, которое она сразу на него произвела, усиливалось с каждой из долгих минут их общего оцепенения.

— Принимай работу, хозяин!

Леонид вздрогнул.

— Собрали, говорю, меблю твою. — Пожилой рабочий спустился сверху. — Поди глянь.

— Спасибо. — Леонид наконец понял, что ему говорят. — Уверен, что все в порядке.

Он вышел вместе с рабочими на улицу, расплатился с ними и с шофером. Занавесок на окнах не было, и, поднимаясь на крыльцо, срубленное, как и весь дом, из массивных лиственничных бревен, он видел Донку в ярко освещенном окне. В простой этой раме она была прекрасна, как картина Рембрандта.

— Пожалуйста, сядьте, — сказал Леонид, войдя.

— У меня юбки мокрые. Я испорчу ваши стулья.

Стулья, как и большой обеденный стол, на второй этаж не занесли, потому что наверху располагались кабинет, спальня и еще одна комната, а здесь, на первом, предполагалось, будет гостиная. Стол пока задвинули в угол, а стулья полукругом стояли посередине комнаты. Они были сделаны по образу и подобию венских, но классическая форма была в

них авангардно преображена. Каждый стул был выкрашен в какой-нибудь неяркий, но глубокий цвет — синий, асфальтовый, лиловый — и покрыт матовым лаком, который Донка, вероятно, и опасалась испортить.

— Со стульями ничего не станется, — сказал Леонид. — Но в мокром вам нельзя оставаться. Сейчас…

Тут он сообразил, что ему нечего ей предложить: у него не то что не было женских вещей, во всем доме не было никаких вещей вообще, ни одеяла, ни покрывала, ни единого клочка ткани.

Он вышел в прихожую, вернулся, держа в руках свой плащ, и сказал:

— Пальто ваше, оказывается, сырое тоже. Поэтому снимите с себя все мокрое и наденьте мой плащ. Он на подкладке, вам тепло в нем будет. А я пока растоплю печь заново.

Топить заново требовалось только для того, чтобы остаться в доме на ночь. Еще утром Леонид не собирался этого делать: у него была срочная, не

оставлявшая свободного времени работа, и он полагал, что сегодня лишь доставит сюда мебель, а окончательно переедет не раньше чем через неделю. Но теперь ему было понятно, что дом должен стать жилым безотлагательно.

Не дав Донке ответить, вернее, возразить, он ушел в боковую пристройку, где было устроено хозяйственное помещение и куда выходили топки двух печей, обогревающих дом.

Когда Леонид вернулся, Донка сидела на стуле в его плаще, застегнутом на все пуговицы и с поднятым воротником. Из-под плаща видны были босые ноги; вероятно, туфли у нее тоже промокли. Да, конечно — он увидел эти туфли рядом со стулом, было понятно, что они не только не подходят для поздней осени, но и растоптаны донельзя, и прохудились. Снятую одежду — ворох пестрых тряпок — Донка комом держала в руках, не решаясь, видимо, положить на стул или на пол.

— Позвольте я развешу все в кухне возле печки, — сказал Леонид. — Дрова хорошо разгорелись, и одежда, думаю, высохнет быстро.

Он сказал это только для того, чтобы ее успокоить: мол, надо лишь немного подождать. На самом же деле ему было понятно, что отпускать ее из дому не следует. И куда отпускать? Даже бардо, в котором она провела месяц, в обозримой близости нет, да он и не считал возможным отправить ее в такие условия.

Развесив цыганский наряд перед печью в кухне, Леонид снова вернулся в комнату. Больше не оставалось занятий, которые позволили бы отвлечься от сути происходящего: в его доме женщина, которая произвела и продолжает производить на него очень сильное впечатление, она оказалась в положении, которое иначе как безвыходным не назовешь, идти ей некуда и даже не в чем. И при всем этом она не выражает никаких собственных чувств, кроме глубокой подавленности, не выказывает никаких намерений.

Неожиданно явившаяся мысль, быть может, не помогала принять решение, а лишь откладывала его

еще на некоторое время, но ничего лучше Леониду в голову не пришло.

— Я поставил согреться воду, — сказал он. — Но, к сожалению, у меня нет ни кружек, ни чая. Я ненадолго отлучусь к соседям, вода за это время как раз вскипит.

— Леонид Федорович… — начала было Донка.

Но он перебил не допускающим возражений тоном:

— Вы не можете оставаться в нынешнем положении. Вам надо где-то жить, а для начала хотя бы во что-то одеться, не ходить же по Москве в цыганском наряде. Извините, но он вам не идет и не подходит. Поэтому подождите меня четверть часа, не дольше. Я вернусь, и мы обсудим, что нам делать.

Когда Леонид шел к двери, ее взгляд, как луч, прожигал ему затылок. Но что было в этом взгляде? Он не понимал.

Глава 16

Ольга Алексеевна была дома одна и собиралась на ночное дежурство. И во время общественных работ по благоустройству Сокола, и пока шло строительство его дома, Леонид успел узнать всех своих соседей, которые уже жили в поселке. Ольга Алексеевна Морозова была хирургом Первой Градской больницы, муж ее Виктор Антонович — экономистом, притом из крупных, и работал в Госплане. Оба они представляли собою тот человеческий тип, который с первых минут знакомства вызывает уверенность, что к людям такого типа можно обратиться за помощью без лишних объяснений.

Ольга Алексеевна действительно не спросила, зачем ее соседу понадобилась на ночь глядя женская одежда, а вынула из шкафа длинный бархатный халат и шерстяные носки с восточным орнаментом.

— Это джуробы, — сказала она. — Мне в Средней Азии подарили, когда я в командировке была. Очень теплые.

Нашлась у нее и сборчатая юбка со вдетыми в пояс резинками, и вязаный свитер, тоже подходящий, как она сказала, на любой размер. Все это Ольга Алексеевна сложила в плетеную корзину для пикника, поверх положила шотландский плед, две чашки с блюдцами, маленький фаянсовый чайник, ложки, салфетки, пачку чая и большой кусок яблочного пирога, завернутый в пергамент.

— А правильнее было бы, Леонид Федорович, если бы вы просто пришли сюда и поужинали, — заметила она, закрывая крышку корзины. — Витя на выходные уехал к родителям в Сергиев Посад, я буду на дежурстве, вам никто не помешает. И жаркое на плите, и посуду никуда носить не надо. Где ключ, вы знаете.

Леонид поблагодарил, заверил, что в ближайшее время все вернет, и вышел. Он понимал, что такая поспешность с его стороны невежлива, что следовало бы все-таки объяснить Морозовой происходящее, хоть в самых общих чертах… Но все его мысли были сейчас о другом, и в голове беспокойно

постукивали даже не минуты, а стремительные секунды.

Когда он вернулся к себе, Донки в комнате не было. Руки у него опустились, корзина чуть не упала на пол. Но прежде чем он успел сообразить, куда могла деваться его гостья, та появилась на лестнице, ведущей со второго этажа.

— Мне показалось, там кто-то есть, и я поднялась, — сказала она. — А это просто форточку оставили открытой, от ветра хлопала. Извините.

— За что же извиняться? — пожал плечами Леонид.

— Что хожу по вашему дому.

В ее голосе слышались униженные интонации, которые она старалась, но не могла скрыть. Леонид едва не возмутился этим вслух, и лишь догадка о том, что Донка может воспринять его возмущение как попрек, заставила его промолчать.

— Соседка собрала для вас одежду, — сказал он.

— Для меня?

— Я попросил что-нибудь подходящее для женщины примерно моего роста. Там халат теплый, и на ноги… забыл, как она назвала. Носки, в общем.

Корзину с откинутой крышкой он оставил на стуле, забрав из нее только посуду: не в ведре же нести сюда кипящую на плите воду, придется заваривать чай в кухне. Этим он и занимался в ближайшие пять минут, зачерпывая чашкой воду из ведра и наливая ее в фаянсовый чайник. В одну из этих минут у него дрогнули руки и он чуть не пролил кипяток, потому что представил, как Донка расстегивает сейчас пальто, чтобы переодеться, а под пальто ничего нет на ее длинном совершенном теле. Во время учебы Леонид много раз рисовал обнаженную натуру, и ему несложно было понять, глядя на женщину, как она выглядит без одежды, тем более если эта женщина будоражила все его существо так сильно, как Донка.

К его возвращению она надела юбку и свитер; вероятно, халат показался ей слишком интимным облачением. В узорчатых носках — в джуробах, он вспомнил — ее шаги были бесшумны, как движения

птичьих крыльев. Все, что предназначалось для еды и чаепития, уже стояло на столе, и салфетки были сложены рядом с блюдцами.

— Чай как-то странно пахнет, — сказал Леонид. — Цветами, что ли?

— Бергамотом, — ответила Донка с непонятной ему то ли рассеянной, то ли растерянной интонацией. — У Алферовых такой любили.

— У кого? — переспросил он.

— Это наши с мамой соседи были, Алферовы. Когда мама была мной беременна, то ушла от своих родителей и сняла квартиру на Садовой-Кудринской. Родители ее так и не простили, и мы жили от них отдельно.

— За что не простили? — не понял Леонид. Но тут же сообразил: — А!..

— Ну да, за то, что от цыгана родила, к тому же без венчания. Говорили, что он ее бросит, так и вышло. И пианисткой она из-за этого не стала, хотя ей сам Рубинштейн прочил успех. Но какой уж мог быть успех — ребенок, сплошные заботы. Она уроки да-

вала, и денег более-менее хватало, я, во всяком случае, нужды не чувствовала. Меня и музыке учили, и французскому, как всякую домашнюю девочку.

— Отец вам не помогал?

Развернув пирог, Леонид вспомнил, что не взял нож — пришлось руками разломить его пополам. Он отдал бы его Донке весь, но догадывался, что весь она не возьмет.

— В общем нет, — ответила она. — Он кочевал и нас почти не навещал. Но когда у меня обнаружился голос, дал денег, чтобы я уроки брала. Он мне выказывал свое безразличие, но в душе, думаю, мною гордился. А я его просто боялась.

От горячего чая ее глаза заблестели тем необъяснимым образом, который Леонид отметил еще в первую с ней встречу — так, будто на них было нанесено какое-то особое покрытие.

«У Аси глаза были черные и светлые, — вдруг вспомнил он. — Вот что это значит, оказывается».

Да, гимназистом он не понимал, почему Тургенев написал о глазах своей Аси так странно, а теперь понял, что тот имел в виду.

— Почему вы отца боялись? — тряхнув головой, чтобы избавиться от гипнотического воздействия, которое производили на него Донкины глаза, спросил он.

— Он во всем мне… обратный, да, так. Красивый и злой.

— Значит, не во всем, — улыбнулся Леонид. — Вы тоже красивая.

Она улыбнулась в ответ, впервые за весь бесконечный сегодняшний вечер, и хотя улыбка лишь на секунду тронула ее губы, сразу же исчезнув, Леонид обрадовался: это могло означать, что напряжение, в котором она находилась, напряжение отчаяния и унижения, начинает ее отпускать.

— Мне с ним не сравниться, он очень красивый, просто совершенной внешности, — сказала Донка. — На него только взглянуть, и понятно, почему мама потеряла голову.

— А ее родители? — спросил Леонид. — Так и не примирились с вашим существованием?

— Ну, они все-таки давали маме деньги на оплату квартиры. И со временем примирились, наверное.

— Как это «наверное»? — удивился он.

— Скорее, смирились. Они честолюбивы, а точнее, тщеславны, особенно дед. Бабка, та просто чопорная дама, и что внучка у нее цыганка, ее коробило, я думаю. А дед мечтал, что потомки захотят продолжить его дело, а не в кабаре плясать, как я. Он профессор математики, — пояснила Донка.

— Здесь, в Москве?

— Был здесь. Но перед самым переворотом, уже после февральской революции, его пригласили в Сорбонну лекции читать, и он вместе с бабкой уехал. Обратно они уж не вернулись, конечно. А Алферовы меня к себе в квартиру забрали, когда мама погибла.

— А где они теперь, Алферовы?

Леониду претила собственная назойливость, но он считал необходимым выяснить все обстоятельства сразу, чтобы больше не возвращаться к тому, что явно причиняло Донке боль.

— Их арестовали и выслали, — ответила она. — На Соловки. — И добавила с какой-то исступленной к себе беспощадностью: — Думаю, их давно уже нет, иначе они мне подали бы хоть какую-нибудь весть о себе. Они меня любили.

О том, как она жила после этого, Леонид спросить не решился. Это было в общем понятно, и не было необходимости мучить ее, заставляя пересказывать подробности.

Но она сказала сама:

— Из квартиры алферовской меня, конечно, после их ареста выселили. Мне тогда, в двадцатом году, как раз восемнадцать исполнилось, по крайней мере не забрали в детдом. Я некоторое время на вокзалах ночевала и так, где придется, потом получила ангажемент в саду Эрмитаж, деньги появились, хоть и маленькие, но все же. Еще устроилась тапером в синематограф, смогла угол снять и вообще воспряла духом, даже по театрам стала ходить, показываться. В Мюзик-холле тоже была, у Голейзовского, там танцовщицы прекрасные, говорят,

в точности как на Бродвее, но труппа уже набрана, а я не великих способностей, чтобы меня взяли сверх штата. А потом нас сделалось слишком много, таких, да ведь я вам говорила, Леонид Федорович, а эстрады ведь остается все меньше, и работы на всех не стало хватать. Пришлось в пивных выступать, но все-таки это было не так уж плохо, по крайней мере достаточно, чтобы за угол платить, а потом…

— Потом я поссорил вас с тем типом. — Леонид накрыл рукой ее вздрагивающую руку. — И вы потеряли работу.

— Не вы поссорили! — горячо проговорила Донка. — Я сама. Я не могла… с ним. — Ее горло судорожно дернулось, и она закончила уже другим, жестким тоном: — Хотя в общем не было в этом ничего особенного. Мне приходилось отвечать взаимностью не одному мужчине, иначе я просто не выжила бы. Но Жох убийца, я точно знаю, и это помешало мне лечь с ним в постель. Работу я после того

потеряла, угол тоже, пришлось пойти в табор, больше некуда было.

— Цыган из Нескучного сада выгнали, — сказал Леонид.

Невпопад сказал, но ему необходимо было произнести что угодно, лишь бы не слушать, что она отдавалась не одному мужчине. Он не был ханжой, но при мысли об этом кровь била ему в голову.

Донкино лицо приняло холодное выражение. Вероятно, она заметила, какое впечатление произвели ее откровения. Леонид мысленно обругал себя за то, что не сумел это скрыть.

— Да, — кивнула она. — Отец знал, что из Петровского парка тоже выгонят. Табор из Москвы собирался откочевать, и я должна была. Но не захотела.

— Почему?

Она пожала плечами и равнодушно ответила:

— Отец меня барону собирался отдать. У них свои счеты, он должен был. А это рабство на всю жизнь. Я надеялась избежать.

— Убежать? — недослышал Леонид.

— И убежать тоже. Отец меня избил вчера, и я не выдержала, вечером убежала. Перед самой облавой. Я про облаву не знала, впрочем.

— Как избил? — пропустив все остальное мимо ушей, вздрогнул Леонид.

— Очень просто. — Донка поморщилась. — Все цыгане женщин бьют, ничего в этом нет для них особенного. Плеткой отхлестал, надавал пощечин.

Пропасть, отделившая домашнюю девочку, которую учат музыке и французскому, от таборной цыганки, которую отец хлещет плеткой и отдает барону, — представилась Леониду во всей ужасающей очевидности. Он будто сам в эту пропасть заглянул, и голова у него закружилась.

— Больше мы об этом говорить не будем, — с трудом преодолевая просто-таки физическое это головокружение, сказал он. — Тем более сейчас. Сейчас вам надо просто лечь и уснуть.

Равнодушие, возможно, деланное, сменилось в ее взгляде мрачными всполохами.

«С вами лечь?» — яснее ясного спросили ее глаза.

— Постели здесь еще нет. — Леонид встал. — Укрыться вы можете пледом, а вместо подушки вам придется свернуть халат. Воды я с утра наносил. В ведре, что на плите стоит, горячая. Если не хватит, можно согреть еще. Надеюсь, разберетесь.

Он пошел к двери.

— А вы? — остановил его у порога Донкин голос.

— Я переночую у соседей.

Он обернулся и посмотрел на нее. Она тоже встала из-за стола. Он едва не зажмурился, такое от нее исходило сияние.

— Но… — начала было она.

— Что ваше имя означает? — спросил Леонид. — Ведь это цыганское имя?

— Неоценимая, — прямо глядя ему в глаза, ответила Донка. — Означает — неоценимая.

И с этим словом в самом своем сердце он вышел из комнаты.

ЧАСТЬ II

Глава 1

— Ты понимаешь, что они придумали?

Глаза у Антона сверкали, как кремень, из которого высекало искры андерсеновское огниво. И если бы в Нэлиных темных глазах различались отсветы, то они, может, сверкали бы тоже. А может и в самом деле сверкали, агаты сверкают же во внешнем свете.

Проект реставрации прадедова здания действительно производил ошеломляющее впечатление. Ребята-архитекторы перенесли эскиз на лист ватмана, такой большой, что он накрыл весь стол в Антоновом кабинете, и от этого ощущение значительности замысла лишь усиливалось.

— Я понимаю, — улыбнулась Нэла.

Все уже ушли, они с Антоном остались над этим огромным эскизом вдвоем. Даже если бы Леонид

Гербольд не был Нэлиным прадедом, она чувствовала бы благодарность за то, что к его обветшалому творению отнеслись так бережно.

По предлагаемому проекту здание — Дом рабочих оно когда-то называлось — сохранялось полностью, внутри и снаружи, и даже более того, убиралось все, чем само это здание и его окружение были испорчены за восемьдесят лет своего существования. После сноса бессмысленных хозблоков, пристроек и будок вокруг предполагалось разбить сквер. Исчезало загромождение первого этажа, который был когда-то задуман как единое пространство, но постепенно превратился в скопище мелких клетушек непонятного назначения. На втором этаже был спроектирован музей конструктивизма и оставался во всем своем продуманном совершенстве концертный зал. В боковом крыле, где непонятно когда образовались жилые комнаты, которыми пользовались такие мутные люди, что невозможно было даже разобраться, кому это жилье вообще принадлежит, — устраивался маленький, на десяток номеров, дизайнерский отель.

Нэла и теперь считала, что Антон мало понимает в архитектуре, но гармоничность всего предлагаемого была так очевидна, что не понять ее было невозможно.

И его воодушевление, искры в его глазах наконец смягчили то, что никак не проходило между ними уже два месяца. Не проходило, а вот теперь наконец прошло, Нэла почувствовала это в Антоне так же ясно, как в себе, и поняла, что он почувствовал то же, и, как она, недоумевает сейчас: что между нами случилось, какая кошка пробежала?

Она вспомнила, как вовсе не кошка, а рыжая симпатичная корги смотрела на нее умильным взглядом, но воспоминание это тут же растаяло. Не все ли равно, на какой крючок Антон поймал для себя возможность создать вот это чудо, раскинутое сейчас на столе? И с какой стати ее так задело то, что он рассказал Кузнецову, кто был ее прадед? Нелепость собственной обиды, и непонятно даже, обиды ли, стала ей так очевидна, что она поежилась от стыда за себя.

— Ну что, пора? — спросил Антон.

— Куда? — вздрогнула от неожиданности Нэла.

— Так на Алькин день рожденья. Или… мы не идем?

Он смотрел исподлобья, глаза потемнели. Он боялся, что ее перемена по отношению к нему лишь почудилась.

— Мы идем, — ответила она.

Глаза сверкнули снова. Все-таки она нужна ему, он без нее тускнеет, это всегда так было, хотя и по непонятной причине: в ее энергии он не нуждается, у него, в отличие от большинства мужчин, и своей хватает с избытком.

Если бы Нэла прямо спросила, что его к ней привязывает, он, может быть, даже сказал бы, что любовь. Антон не привык дифференцировать свои чувства, всегда обозначал их лишь приблизительно, да и, как для всякого человека действия, слова значили для него слишком мало, чтобы он стал их подбирать. Он стеснялся говорить о любви только в ту ночь, когда позвал Нэлу замуж на берегу Рейна, потом же выдавал общепринятые формулы легко, не

смущаясь тем, что они мало совпадают с реальностью или вовсе ей противоречат.

— Ты нерф из багажника не вынул? — спросила Нэла.

Стреляющий пластмассовыми шариками нерф являлся, как оказалось, вожделенной игрушкой для мальчишек любого возраста и был поэтому куплен в подарок Альке на тринадцатилетие.

— Не вынул, — ответил Антон. — Можем домой не заходить.

Выходя из кабинета, Нэла оглянулась на ватман с эскизом и сказала:

— Одного не понимаю…

— Чего не понимаешь? — насторожился он.

— Зачем инвестору такое сооружение. Я еще поняла бы, если бы он всю начинку из здания вычистил и отель там сделал. Но музей конструктивизма… Зачем?

— Это как раз понятно, — усмехнулся Антон. — Понты, больше ничего.

— Странные понты, — пожала плечами Нэла.

— Так ведь разные бывают. Мне, когда только-только сюда приехал, депутат один говорил: если б понты светились, Москву бы можно вообще не освещать. Я сразу не понимал, что это значит, а потом понял.

Нэла засмеялась. Антон умел доходчиво обозначать суть явлений.

— Пойдем, — сказала она. — Все-таки домой придется зайти, я переоденусь.

Переодеваться было не обязательно, но она пообещала Альке, что покажет заколку с кристаллами аврора бореалис, а утром, выходя из дому, забыла об этом. Да заколку еще надо было и найти среди бесчисленных маминых украшений.

Алька совсем не интересовался отвлеченными вещами. Нэла считала, что это плохо, потому что в будущем, когда он достигнет всех вершин в какой-нибудь профессии, отсутствие отвлеченных интересов сделает его жизнь скучной. Ваня полагал, что о таком отдаленном будущем беспокоиться рано, а Таня была с Нэлой согласна. В общем, когда Алька

заинтересовался легендой про кристаллы Авроры — что тем же именем называют северное сияние и еще духов, странствующих по небу, или искры, высекаемые хвостом лисицы, которая танцует в ночной тьме, или отблески от щитов валькирий, — Нэла тут же пообещала ему их показать.

Заколка нашлась в маминой спальне, в ящике комода, отведенном под старые украшения. Нэла привычно повертела ее, прежде чем приколоть к волосам, и кристаллы заискрились в размытых туманом лучах фонаря, светящего в окно. Она зажмурилась и чуть слышно засмеялась. Поздний промозглый ноябрь, магический кристалл, туман и счастье.

Глава 2

Ужин сегодня был только семейный. Многочисленных друзей именинника сиденье за домашним столом уже не увлекало, и они приглашены были на воскресенье в специально оборудованный ангар на шоссе Энтузиастов, чтобы играть в квест про нашествие инопланетян.

Праздничный стол, накрытый в гостиной на первом этаже левертовского дома, выглядел чрезвычайно привлекательно. Тарелки с холодцом подмигивали желтыми яичными глазками, салаты напоминали цветом и формой картины Кандинского, а запах чего-то запекающегося, доносясь из кухни, обещал еще более сильные впечатления.

— Да-а… — остановившись в дверях комнаты, проговорил Антон. — Ты, Тань, могла бы ресторан открыть!

Та вдевала салфетки в серебряные кольца, которые Нэла еще по временам Евгении Вениаминовны помнила.

— Я и салон красоты могла бы открыть, — усмехнулась Таня. — Только смысла сейчас нет ничего открывать. На одну аренду будешь работать, и проверками достанут, пока последнее не вытянут.

Нэле показалось, что невестка выглядит то ли взволнованной, то ли растерянной. Трудно было представить, чтобы Таню расстроило несовершенство государственного устройства. Значит, дома что-то случилось — с Алькой, с Ваней? Это Нэлу встревожило.

Но тут оба они, Алька и Ваня, вошли в комнату, то есть Алька не вошел, а влетел, потому, конечно, что догадывался про нерф, и сразу завопил от восторга, увидев его у Антона в руках, и все стали рассаживаться, а он распаковывать коробку, и в этой приятной суете семейного праздника исчезла с Таниного лица растерянность, а возможно, Нэле она и вообще лишь почудилась.

Выпили за именинника, и Таня сказала:

— Мне, когда малая была, всегда казалось, тринадцать лет — это уже какой-то другой человек, не

тот, что раньше был. В двенадцать тот же самый, что и в одиннадцать, а в тринадцать — другой, взрослый.

— Почему? — удивился Ваня.

— Не знаю. Так казалось.

— То-то ты в тринадцать лет из дому сбежала, — заметила Нэла.

— Ну да, поэтому, — кивнула Таня. — Я-то, считала, что другая стала, а жизнь-то у меня та же самая осталась, убогая, и какого черта я ее должна терпеть. К тебе это не относится! — спохватилась она, повернувшись к Альке.

Тот в ответ лишь загадочно ухмыльнулся. Впрочем, вряд ли он собирается сбежать. Память о детдомовских годах не выветрилась, да и слишком уж мало похожа нынешняя Алькина жизнь — в доме его отца, где каждый предмет напоминает о череде родных, сделавших это пространство осмысленным и прекрасным, — на то, чем была в тринадцать лет жизнь Тани Алифановой в бараке, с осатаневшей от

безысходности матерью, с побоями, со всей бессмысленностью ее настоящего и будущего.

— О, вот эта заколка, что ли? — заметил Алька. — Которая из северного сияния? А она откуда у тебя взялась?

— Не знаю. — Нэла вынула заколку из волос и протянула ему. — Помню, сколько себя. Она мне всегда воображение будоражила.

— У вас дома все такое, — заметила Таня. — Австрийские фрукты, помнишь? У меня глаза разбежались, когда первый раз их увидела.

Австрийских фруктов — яблочек золотистых и зеленых, розовых груш, лиловых слив, желтых с синевой морошек, и вишен, и лимонов — у Нэлиной мамы было такое множество, что неудивительно, почему от одного их вида разбежались глаза у девочки с живым воображением. Эти брошки и клипсы из стекла и эмали начали делать в Австрии вскоре после войны, когда денег ни у кого еще не было, а выглядеть ярко женщинам уже хотелось.

Нэла знала, что первые клипсы из коллекции австрийских фруктов привез из заграничной командировки прадед Леонид Федорович. Может, и эту заколку тоже, надо будет у мамы когда-нибудь спросить.

Алька покрутил заколку, искры от кристаллов Авроры пробежали по его лицу. Что-то тревожное было в их стремительной россыпи. А может, показалось, просто Алька стал так мгновенно и сильно похож на своего отца, что у Нэлы сердце дрогнуло, хотя Вениамин Александрович был настолько старше ее, что она всегда воспринимала его совершенно отвлеченно.

Съели салаты, потом запеченную форель, потом пирог с грушами и франжипаном, который Таня научилась делать по рецепту Евгении Вениаминовны, а может, и более давних левертовских предков.

Алька давно забыл про заколку, ему не терпелось испытать нерф на открытом пространстве.

— Иди уже, иди, — сказал Ваня. — Во дворе постреляй.

— Один, что ли? — возмутился тот.

— Я с тобой. — Антон поднялся из-за стола и похлопал себя по животу. — Надо маффин топ растрясти.

За маффин топ ему беспокоиться не приходилось — жир над брюками не свисал. Но сидеть неподвижно Антону надоедало еще быстрее, чем Альке.

— Идешь? — спросил он Ваню.

— Нет, — отказался тот. И добавил: — Таню зовите.

— Я хотела со стола пока убрать и фрукты поставить, — сказала Таня.

— Я уберу. И поставлю.

Таня посмотрела на мужа каким-то странным взглядом и молча вышла вслед за Антоном и Алькой.

— Что случилось, Вань? — спросила Нэла, дождавшись, когда закроется за ними дверь, ведущая в сад.

— Ничего.

Такой ответ мог обмануть ее не больше, чем ровная интонация и бесстрастное лицо брата. Может, по природной догадливости, а может, из-за двойняшечной связи она видела Ваню насквозь, притом что все считали его закрытым человеком, и справедливо считали.

— Вы поссорились?

— Нет.

— А тогда почему Таня такая?

Если бы он сделал вид, будто не понимает, о чем речь, Нэла рассердилась бы: она не терпела, чтобы ее считали дурочкой. Но он притворяться не стал.

— Она беременна, — сказал Ваня.

— Да ты что! — ахнула Нэла. И тут же поправилась: — В смысле, ну и что такого?

— Такого ничего. Но я этого не хочу.

Нэла не то что давно не слышала, чтобы он говорил таким тоном — никогда она ничего подобного от него не слышала. Жесткость в Ванином голосе оказалась для нее полной неожиданностью. И главное, по отношению к кому, к чему!..

— Не хочешь ребенка? — растерянно спросила она.

— Не хочу.

— С Таней?

— Вообще не хочу! — В его голосе наконец мелькнули живые интонации. Но это были интонации раздражения, почти гнева. — Причем здесь Таня?

— Ничего себе! — Нэла рассердилась тоже. — Хорошенькое дело, рожать ей, а она ни причем?

— Ей не надо от меня рожать, — отрубил Ваня.

— Как это не надо? Почему?!

Но прежде, чем брат успел ответить, она поняла наконец, в чем дело.

Его счастье с Таней и Алькой было таким сильным, что прошлое перестало существовать. Настоящее заполнило всю его жизнь, будто бы вытеснив горе. Но именно будто бы — никуда его прошлое, конечно, не делось, оно пульсировало болью, и эту боль он пытался заглушить сейчас жесткостью тона.

— Вань… — сказала Нэла. — Ну почему ты думаешь, что может опять… Вадик ведь… Это не по твоей вине могло ведь с ним случиться!

— Вина здесь вообще ни при чем. — Он пожал плечами. — А генетически мы эту проблему не исследовали.

— Ну так можно же теперь исследовать! — воскликнула она. — На сто процентов все заранее скажут, я уверена!

— А я не уверен. — Он будто гвозди вколачивал. — И проверять больше не хочу.

Что она могла на это сказать? Когда выяснилось, что у двухлетнего Вадьки аутизм и он не воспринимает происходящее вне его самого и вне того маленького пространства, в котором он только и может существовать, — выяснилось также, что папа единственный человек, который умеет настраиваться на его волну и которому ребенок позволяет это делать. Если в его пространство пытался вторгнуться кто-то другой, даже родной, даже с самыми добрыми намерениями — чтобы обнять его, просто

погладить по голове, — Вадька заливался слезами. От нянь не было толку, и надолго они не задерживались. Лиля плакала, когда сын заходился криком от одного лишь ее прикосновения. Бабушка с дедушкой выдерживали день-два, не больше… Ваня ушел с работы и стал заниматься только сыном. Альтернативы не было. Объективно не было.

Нэла вспомнила — когда Ваня начал водить ребенка в специальную школу и она спросила, как Вадька чувствует себя на улице, брат ответил спокойным тоном:

— Улицы боится. Дольше пятнадцати минут не выдерживает. Но месяца через три сможет уже час выдерживать, думаю.

Нэла тогда вздрогнула от того, какими временными единицами он теперь оперирует: месяц-другой на освоение одного навыка, полгода-год — другого… Она постаралась скрыть свой ужас перед тем, как идет и уходит время в том мире, в котором вместе с ребенком вынужден жить ее брат, как идет и уходит его жизнь. И до сих пор вздрагивала от стыда, вспоминая, что он тогда ее ужас заметил.

— Думай обо мне что угодно, — сказал Ваня, — но больше я такого не выдержу. А всех своих детей вместе с женами в Америку отправлять, это, знаешь ли, тоже не выход.

Вероятно, последняя фраза должна была играть роль шутки, но этого не получилось. Нэле показалось, что лицо у него темнеет с каждым следующим словом.

— Но что же делать? — чуть слышно проговорила она.

— Ты меня спрашиваешь?

— Ну а кого же я…

— Она, между прочим, не спрашивала, — перебил он. — Перестала пить таблетки и поставила меня перед фактом. У вас это, видимо, считается нормальным. А у меня — нет.

— Вань, — сказала Нэла, — но Таня же молодая еще, ей хочется ребенка, пойми же.

— Понимаю. — Усмешка исказила его лицо. — Но от меня детей больше не будет. Здесь таких детей ненавидят.

— Да за что их ненавидеть?! — воскликнула Нэла.

— Я представить даже не мог, сколько в людях ненависти. И не к убийце же, не к вору!.. Всю жизнь буду помнить, — с исступлением, не слыша ее, продолжал он, — Вадьке три года было, я его в песочницу научился заманивать, чтобы он там машинку свою катал. Все мамаши сразу же детей оттуда вытаскивали, будто у него чума. Одна мне так и сказала: не приводите его сюда, здесь нормальные дети, нельзя их пугать, он же у вас ментальный инвалид! А он ни на кого не смотрел даже, наоборот, надо было следить, чтобы в него песком не бросали и совочками не колотили. Нормальные дети!.. — Он вздрогнул и замолчал. Потом произнес уже спокойным тоном: — Больше я этого не допущу. И вообще, не надо было об этом, Нэл, извини, что тебя нагрузил.

Сквозь стеклянную дверь было видно, как в саду Антон, встав на одно колено, обстреливает Альку шариками из нерфа, тот хохочет и пытается

укрыться за смородиновым кустом, куст старый, голые его ветки обвисли до земли, и яркие шарики, застревая в ветках, празднично их расцвечивают.

Нэла молчала. А что она могла сказать? Что не надо переносить прошлое в будущее? Пошлость в этом духе уже сказал Чернышевский. Когда она училась в школе, «Что делать?» читать уже не заставляли, но она прочитала, потому что читала все подряд, и мало того что весь этот роман запомнился ей как одна большая пошлость, так еще и застряли в памяти пошлости мелкие, из которых он состоял, и про будущее, которое следует переносить в настоящее, запомнилась тоже.

Сколько всего никчемного сфотографировано ее памятью и навсегда в ней осталось!

Глава 3

— Может, через забор перелезем? — предложил Антон, подавая Нэле пальто в прихожей левертовского дома. — Я тебя перетащу.

Она живо представила, как он, почему-то за шиворот, тащит ее через штакетник, разделяющий участки Левертовых и Гербольдов, и, сдержав смех, ответила.

— Нет уж, давай по улице обойдем.

И вот они вышли на улицу и направились к своей калитке. Пройти надо было всего метров пятьдесят, но странное ощущение охватило Нэлу. Показалось, что мир отступил от нее всеми своими событиями, но при этом затопил своими чувствами. Да, все чувства мира сделались вдруг воздухом, которым она дышала, и светом, разгоняющим тьму, и еще чем-то, что не имеет названия, но без чего физически не может жить человек.

Ей было так хорошо в этом странно преобразившемся мире, что она засмеялась.

— Что ты? — спросил Антон.

— Просто.

Тут она вспомнила разговор с братом, и ей стало стыдно за свою умиротворенность, но может, это и не умиротворенность, а самое настоящее счастье. Когда оно началось, счастье, с чего началось?

Чтобы это понять, требовалось что-то вроде анализа, но она не успела произвести его у себя в голове, потому что Антон взял ее за руку и сказал:

— Смотри, поскользнешься. Листья.

Он и в юности всегда брал ее не под руку, а за руку, в этом была такая доверительность, что у нее сердце каждый раз вздрагивало. Пока она не поняла, что он делает это машинально и что этот жест, так много говорящий ее сердцу, ничего для него не значит.

Нэла посмотрела себе под ноги — листья в самом деле устилали асфальт. Она вспомнила, как дворник неделю назад говорил ей: требует ваше правление, чтоб я листья с газонов не убирал, траве от палых листьев польза и козявкам всяким, так

ведь глупости это, и как не убирать, их же по всей улице разнесет! Вот, разнесло.

И они идут с Антоном домой, скользя по приставшим к мокрому асфальту листьям старых лип, на улице Сурикова крупнолистные липы, а на Поленова клены альба, а на Шишкина ясени, и сахарные клены на Брюллова… Ей было радостно думать об этих деревьях и об этих улицах, и то, что Антон держал ее за руку, было частью ее мыслей, и более чем частью, и более чем мыслей.

— Что мы пили? — с недоумением спросила она. — Я какая-то пьяная.

— Да ничего особенного. Мы с Ванькой коньяк, вы с Таней вино. Белое вроде.

Он остановился, глядя на Нэлу удивленно и радостно.

— Мне стало очень хорошо, — сказала она. — Сама не понимаю, почему.

— Проект тебе понравился потому что, — ответил он. — Увлеклась наконец.

Нэла и думать забыла про проект, но когда Антон сказал о нем, то оказалось, что совсем не забыла. Гармоничный и простой рисунок здания, построенного ее прадедом, возник у нее перед глазами так ясно, будто был прочерчен светящимися линиями в темноте соколянской улицы.

— Да! — Она засмеялась от такой отчетливой ясности и рисунка, и улицы, и Антоновых слов. — Хороший дом, правда?

— Правда.

Он улыбался. Глаза искрились, как кристаллы Авроры. Она смутилась, подумав так. Будто он мог угадать ее мысли.

— Я этого ждал, — сказал он.

— Еще скажи, что для меня этот проект сделал! — фыркнула Нэла.

— И для тебя тоже. — Он притянул ее к себе и проговорил ей в висок: — Хотел, чтоб ты увлеклась.

— Чем увлеклась?

Виску стало щекотно от его дыхания.

— Да хоть чем. Лишь бы ко мне вернулась.

Она приехала в Москву полгода назад, сразу же оказалась в его постели и не провела вне ее за это время ни одной ночи, но он был прав: она вернулась к нему только сейчас. Простой красоты рисунок, лежащий на его столе, притянул ее как магнит.

Они уже стояли у калитки, Антон открыл, и вошли.

Нэле показалось, что дом переменился тоже. Как будто не в заколке, а у нее в глазу был кристалл, отдаляющий какой-то, и наконец его вынули, и все сделалось сразу очень близким, и не взгляду только, но сердцу. Как странно, что такое преображение — магическое, она бы сказала, если бы ее не коробили подобные определения, — началось с такой рациональной вещи, как проект реконструкции прадедова здания, пусть даже и удачный, и гармоничный проект.

Антон пошел в ванную, а Нэла поднялась в свою детскую. Когда она вышла замуж, туда поставили двуспальную кровать, и если они приезжали в Москву с Антоном вдвоем, то жили в этой комнате.

Всего полгода назад ей казалось, что они больше не войдут вдвоем в эту спальню, но вошли, потом казалось, что между ними не возникнет никакой близости, кроме физической, но сейчас переменилось и это.

Нэла переоделась в халат и села на кровать. Все ее движения были машинальными, потому что она прислушивалась к себе, будто беременная.

«Что же Тане теперь делать?», — подумала она.

Мысль пришла некстати: Нэла была последним человеком, у которого Тане стоило бы спрашивать совета.

Заскрипела лестница, вошел Антон, сказал:

— Кран над раковиной не открывай пока, резьба сорвалась. Завтра сделаю. Душ можешь включать.

Он умел делать все, а поскольку она вышла за него почти одновременно с тем, как вышла во взрослую жизнь, ей долго казалось, что по-другому не бывает, тем более что он и сам не придавал значения своему умению починить кран или вбить гвоздь. Когда расстались, она поняла, что бывает и

по-другому, и даже обычно бывает по-другому, но ей не захотелось вернуться к нему от того, что некому стало чинить краны и вбивать гвозди. И от того, что ни с кем ей не было так хорошо физически, как с ним, не захотелось вернуться тоже.

И вдруг это переменилось, и, как ни странно, как даже ни смешно, но самое поверхностное размышление доказывало, что действительно переменилось в ту минуту, когда появился эскиз, будущий дом, который непонятно почему стал ей дорог. В самом деле гены, может, иначе как объяснить.

Антон ждал ее с нетерпением, этого нельзя было не понять, когда Нэла вернулась из ванной в уже темную спальню и он откинул край одеяла, чтобы она легла к нему, и обнял ее с нескрываемым желанием, с возбужденной лаской. Но этого не следовало и переоценивать: чаще он хотел ее, чем не хотел, и никогда не бывал с нею груб, то есть в постели никогда…

Уснул он быстро, сразу после секса, и в этом тоже не было ничего необычного. У него, по сча-

стью, было крепкое здоровье, не только физическое, душевное тоже, это чувствовалось в сравнении с богемными мужчинами, страдающими нервной бессонницей, то есть это потом Нэла стала сравнивать, а пока они были мужем и женой, сравнивать ей Антона было не с кем, и она тогда обижалась даже: у нее еще все тело гудит и звенит, а он засыпает как камень, и ни поговорить с ним, ни расспросить о чем-нибудь, ни ему что-нибудь рассказать…

Но что с этим можно было поделать? Ни тогда, ни сейчас — ничего. Она соскользнула с его руки, легла на свою подушку и закрыла глаза.

Глава 4

Антон перевелся из Гамбурга на подготовительное отделение Боннского университета. Через неделю после этого они с Нэлой съездили в Москву и расписались в районном загсе на Соколе. Свадьбу устраивать не стали, родителям сообщили постфактум, вышло что-то вроде скандала, но не слишком большого — Нэлины родители привыкли, что она не медлит с тем, что считает для себя важным. Мама в сердцах называла это ее качество духом противоречия, папа сугубой самостоятельностью, но оба понимали, что поделать с этим ничего нельзя. А мать Антона — она прилетела из Нефтеюганска в Москву на два дня, познакомиться с невесткой и новой родней — выглядела такой тихой и робкой, что невозможно было даже представить, чтобы она стала высказывать недовольство женитьбой сына. Вырос, армию отслужил, отрезанный ломоть, если на старости лет поможет, то и слава Богу, а в остальном уж как сам себе знает. Нэла поняла это так ясно, как если бы

Валентина Петровна высказалась вслух, хотя ничего она не высказывала, а когда Нэла пригласила ее приезжать в Бонн, посмотрела на невестку с таким удивлением, будто та позвала ее на Марс.

Жилось им не трудно: Нэла получила стипендию, Антон устроился на три дня в неделю механиком в мастерскую, где ремонтировали какие-то станки. Оказалось, до армии он закончил училище, которое давало такую специальность, а чему его в училище не обучали, то он за неделю в мастерской освоил. Так что денег им хватало, что же до бытовых проблем, о которые разбилась не одна любовная лодка, то весь немецкий быт налажен был так, чтобы подобные проблемы не являлись помехой не только для счастья, но даже для молодой беспечности. Множество механизмов работали на то, чтобы у людей оставались силы для осмысленной жизни, и механизмы человеческого взаимодействия, при всем их, на Нэлин и особенно на Антонов взгляд, занудстве, были в этом смысле не менее толковыми, чем стиральные машины, установленные в подвале общежития, где Нэла с Антоном жили, радуясь своей

молодости, любви, свободе, будущему и настоящему, которое сверкало перед ними яркими гранями, с каждым днем все новыми.

Из Бонна легко было съездить на несколько часов в Амстердам, в Брюссель или в Брюгге и Остенде, а на выходные в Париж.

Обаяние Парижа оказалось таким сильным, что даже Антон, который не любил созерцательных прогулок, а искал в любой поездке какого-нибудь занятия, стоя вместе с Нэлой на смотровой площадке башни Монпарнас, как завороженный смотрел на свободный размах его улиц, его площадей.

В Брюгге катались на лодке по каналам, и после фламандского жаркого Антон под Нэлины возмущенные возгласы накупил еще бельгийских вафель.

В Остенде плавали в холодном море и ели устриц за исцарапанным пластмассовым столиком прибрежного кафе.

В Амстердаме накурились травы и хохотали как ненормальные, бродя вдоль каналов и рискуя попасть под стремительно мчащиеся велосипеды, а потом, бело-зеленые, с раскалывающимися от боли

головами, отлеживались тут же у канала рядом с велосипедной стойкой и клялись, что больше никогда-никогда, о-ох, какая ж это гадость.

В Брюсселе плясали новогодней ночью в веселой толпе вокруг елки на Гранд Пляс.

Все это было таким безусловным, таким сияющим счастьем, что Нэла смирилась с тем, что после подготовительного отделения ей придется учиться в Боннском университете. Она-то рвалась в Берлин, это был самый что ни на есть ее город, стремительный, разнообразный, молодой мегаполис. А Бонн был маленький, провинциальный, слишком для нее спокойный, даже сонный. Но в Берлине не было подготовительного отделения для иностранцев, а Антон застрял на этом отделении надолго. Язык не то чтобы совсем ему не давался, но он выучивал его медленно, и даже не по сравнению с Нэлой, которая подхватывала любой язык из воздуха, а вообще медленно — никак не мог продвинуться дальше самого простого бытового уровня, уже второй раз за-

валивал экзамен, который позволил бы ему закончить подготовительное, и собирался поэтому взять академический отпуск.

Но что же, выучит ведь когда-нибудь, думала она и радовалась тому что есть — городу, исполненному старинной респектабельности, и Рейну, к которому не было дня, чтобы ты в этом городе не вышел.

Она выбрала бакалавриат по журналистике на философском факультете сразу же, как только поняла, что учиться в Берлине не получится, и уже во втором семестре начала писать для разных газет, благо все немецкие издания имели представительства в Бонне. Потом стала сотрудничать и с телевидением. Для этого приходилось ездить в Кельн, но ведь близко же, всего сорок минут электричкой.

Правда, когда Нэла сделала и сама смонтировала свой первый репортаж о выставке абстракционистов в кельнском музее Людвига, то и расстояние, и особенно время в пути — была железнодорожная забастовка и вместо электрички пришлось ехать трамваем, который тащился из Кельна в Бонн

почти два часа, — показались ей невыносимо долгими.

Она влетела в комнату запыхавшись и воскликнула:

— Тоник, включай телевизор!

Антон положил на пол желтый словарь Дуден, который нехотя листал, лежа на кровати, и взял пульт; в их маленькой общежитской комнате все было под рукой.

— Хорошо смотришься, — заметил он, глядя, как на экране его жена берет интервью у художника, у которого на гладко выбритой татуированной голове торчат красные рожки из оставленных для этого волос. — Получше, чем этот хмырь, во всяком случае.

Нэла засмеялась такому комплименту, Антон схватил ее под мышки, усадил к себе на живот и щекотал, мешая смотреть, а как только ее репортаж закончился, вообще выключил телевизор и стал стаскивать с нее джинсы и свитер одновременно.

— Антон, ну подожди! — Она смеялась и выворачивалась из его рук. — Ты все порвешь же!..

Болты на ливайсах порвать было невозможно, да это их обоих и не слишком волновало. По свитеру, правда, побежала дорожка спустившейся петли, но в ту минуту, когда Нэла судорожно стиснула своего мужа коленями и, забившись, ткнулась лбом в его ходящее ходуном плечо, это не имело вообще никакого значения.

— Понравилось тебе? — спросила она, уже лежа рядом с ним.

— А ты не поняла, что ли? — Он подвинул руку, и Нэлин затылок оказался точно в сгибе его локтя. — По-моему, я так орал, что даже Дагмар с Уте поняли, что мне понравилось.

Дагмар и Уте учились на медицинском факультете и жили в соседней комнате.

— Да я не о том! — засмеялась Нэла. — Репортаж мой понравился тебе?

— А!.. Ну да, репортаж тоже понравился. Ты красивая, аж зубы сводит. У краснорогого точно сводило, и не только зубы, видела?

— Не видела, — фыркнула Нэла. — Я даже не помню, о чем его спрашивала. Волновалась ужасно, я же первый раз в кадре была.

— Все нормально, — заверил он. — Есть будешь? Я у Селима тушеную баранину купил. С помидорами.

Селим держал лавку в Бад-Годесберге рядом с мастерской, где работал Антон, и тот часто покупал у него готовую еду по дороге с работы.

— Потом, — отказалась Нэла. — Просто так полежим немного, ладно?

— Ладно.

Ей хотелось подробнее выспросить его впечатления о репортаже, но казалось неловким это делать — будто требовать, чтобы ее хвалили. А сам он ничего не говорил и, пожалуй, вообще забыл уже о каком-то там репортаже. Антон не интересовался тем, что она делала вне их совместной жизни. Это было ей непонятно и сначала коробило, но потом она привыкла. Его жизнь от рождения была другая, чем ее, изменить это было уже невозможно, а значит, следовало смириться с теми представлениями

о мире, которые той его жизнью были в него вложены, и надеяться, что дальше все представления будут у них складываться совместно.

«Ой! — вдруг вспомнила Нэла. — А таблетку я сегодня пила или нет?».

Может, она не только вспомнила это, но даже произнесла вслух, потому что Антон спросил, не открывая глаз:

— Что?

— Кажется, таблетку забыла утром выпить, — пробормотала она.

— Ну и черт с ней.

— Ага, черт! А если…

— Ну и родишь.

Нэла так удивилась, что села на кровати и всмотрелась в лицо мужа. Глаза он уже открыл, но в них была одна только безмятежность. Когда-то на сумасшедшем корабле ее поразила его способность не бояться последствий любого, даже самого рискованного своего поступка. Она и теперь к этому не привыкла.

— Тоник, — сказала Нэла растерянно, — как это — родишь? Мне еще учиться сколько, а тебе и вообще…

— Я академку сегодня оформил.

— Тем более. Еще на год все растянется.

— Да не собираюсь я ничего растягивать.

Он тоже сел на кровати и посмотрел Нэле в глаза тем взглядом, которого она почти боялась. Решимость сверкала в его глазах, а к чему эта решимость приведет, непонятно.

— Что не собираешься?.. — спросила она.

— Учиться больше не собираюсь, — ответил Антон. И, заметив ее протестующее движение, добавил: — Без толку мне это, Нэл. От дурости казалось, вот как выучусь, так деньги лопатой буду грести. А на самом деле не в коня корм мне эта учеба, и денег у меня от нее никогда не будет. Не от нее у меня деньги будут, — уточнил он.

— Но как же ты здесь… — начала было Нэла.

— Потому и академка. Иначе сразу бросил бы. И не волнуйся, — твердо сказал он. — Без куска хлеба не останусь и тебя не оставлю.

— Да я не про хлеб! — воскликнула она. — Я же…

— Что — ты же? — Его взгляд стал настороженным. — Стыдиться будешь, что муж у тебя не академик?

— Я никогда не буду тебя стыдиться, — сказала она. — Дело вообще не во мне. А в тебе, Антон! Ты мужчина, тебе нужно… Нужно что-то впереди для себя видеть.

— Так я и вижу! — Взгляд его засверкал снова. — Еще чуток у Гюнтера поработаю, потом свою мастерскую открою. Тут для механика работы полно, на каждый чих же у немцев механизм. Будешь у меня как куколка, не волнуйся!

— Какие ты глупости говоришь, — поморщилась Нэла. — При чем здесь куколка?

— Ну, в смысле, будешь в свое удовольствие по телевизору про картины рассказывать, или что там твои художники малюют. И давай поедим уже, а?

— Сейчас разогрею твою баранину, — вздохнула Нэла.

Еда, на ее взгляд, занимала в его сознании слишком большое место. Когда он был голоден, то мог думать только об этом.

— Не, пошли в ресторан. — Антон поднялся с кровати и стал одеваться. — Репортаж твой отметим, и вообще.

Нэлино обещание, что она будет всегда с ним есть, он понял, кажется, слишком буквально и постоянно норовил где-нибудь ее накормить, даже просто на улице. Иногда ее это сердило, но сейчас она чувствовала такую растерянность, что ей было и не до еды, и не до того чтобы сердиться.

Он предложил поехать в Бад-Годесберг. Там было много арабских лавочек с двумя-тремя столами у прилавка, все, как и Селим, готовили что-нибудь острое, пряное и сытное. Наверное, Антон хотел поесть в одной из них, а Нэле было все равно, где есть и есть ли вообще. Всю дорогу, глядя в спину едущего на велосипеде впереди мужа, она думала, что означают его слова о том, чтобы ей родить.

Оказалось, он направлялся не к арабам, а на Рейнскую аллею, в «Бастай», где были один раз, когда приезжали Нэлины родители. Нэла знала, что ресторан не дешевый, и, может быть, не стала бы здесь обедать, тем более что и есть ей не хотелось. Но в состоянии неясности и тревоги, в котором она находилась, возражать не хотелось тоже.

У входа стоял массивный дубовый комод, на нем множество бутылок с разноцветными домашними настойками. Антон выпил можжевеловой, Нэла не стала. Одна из стен представляла собою панорамное окно, возле нее и сели за стол, и смотрели на пустую зимнюю реку, вышедшую из берегов, на покрытую водной рябью набережную. Неделю шли дожди, Рейн разлился, судоходство было остановлено.

— Ты чего такая? — спросил Антон, когда Нэла невпопад ответила на его вопрос о том, что она будет есть и пить.

— Ты хочешь ребенка?

Она думала только об этом, и нечего было ходить вокруг да около.

— С чего ты взяла?

Он посмотрел удивленно.

— Ты сам сказал.

— Когда? А!.. Да я в том смысле, что если родится, то и ладно.

— Антон! — Она наконец рассердилась и от сердца отлегло. — Как можно так к этому относиться?

— А как к этому относиться?

Может, он не умел, а может, не хотел скрывать свои чувства и мысли, за год жизни с ним у Нэлы не было случая это проверить, но сейчас по всему его виду было понятно, что он действительно не понимает, что ее рассердило.

— Это же ответственность! Я не уверена, что сейчас к ней готова. И… — Нэла смущенно шмыгнула носом. — И не знаю, хочется ли мне этого…

Она тут же подумала, что совсем не хочется, но об этом говорить Антону не стала. В конце концов, может и сам догадаться, что в двадцать с небольшим, на втором курсе университета, без родителей

поблизости, воспитание младенца — не самое желанное занятие. Или не может он об этом догадаться?

Это стало Нэле даже любопытно, и она спросила:

— А тебе разве хочется?

— Я об этом вообще не думал. — Он пожал плечами. — Но если родится, не в детдом же его сдавать.

Вероятно, так относился к этому его далекий предок, который увел чужую жену, подался в Задонщину и носился на коне по степи со всей беспечностью мужчины, который уверен, что справится с любой трудностью, какая только ни встретится ему на пути.

Ничего не произошло особенного, пока они сидели у окна, глядя на реку, вышедшую из берегов, но Нэле стало так легко, что удивительными показалась и растерянность ее недавняя, и тревога.

— Я тебя совсем не понимаю, Тоник, — сказала она. — Но очень люблю.

Глава 5

Наверное, это началось не в тот день, когда их навестил Константин Иванович. Конечно, не в тот — к любым действиям, даже таким, которые посторонним кажутся спонтанными, человек идет внутренним путем, и в пути этом есть невидимая извне логика. Во всяком случае, Антон при всей его способности к лихим поступкам всегда обдумывал свои решения, особенно те, которые меняли его жизнь. Или он не считал расставание с женой такой уж важной переменой в своей жизни? Нэла до сих пор этого не знала.

А в тот год, когда она размышляла, пойти ей в магистратуру или заниматься только журналистикой, ограничив свое образование бакалавриатом, у нее не было никаких причин считать, что у них с Антоном происходит разлад. Наоборот, их семейная жизнь вошла в такую ровную колею, как будто близилась к золотой свадьбе. При Нэлином интересе ко

всему новому, при Антоновой порывистости, при молодости их, в конце концов, это было странновато и могло бы настораживать, если бы Нэла не была так погружена в работу, а главное, если бы сомневалась, что муж ее любит. Но Нэла в этом не сомневалась, а точнее, не видела в его жизни ничего такого, что было бы ему дороже, чем она. И не догадывалась, какую опасность таит в себе это уточнение…

После того как Антон бросил университет, интересы их, как ни странно, сблизились. Если раньше он считал отдельным от себя все, что относилось в жизни его жены к сфере разума и духа, то теперь стал ко всему этому присматриваться.

Когда Нэла однажды обнаружила, что он читает книгу, которую она, прочитав, еще не успела сдать в библиотеку, то удивилась так, что не сумела этого скрыть. Антон на ее удивление только плечами пожал:

— Интересный, между прочим, этот Конфуций. «Стыдно быть бедным и незнатным, когда в стране есть путь, стыдно быть знатным и богатым, когда в

ней нет пути». Я теперь все время про это думаю. А почему? Сам пока не понимаю.

То, что он при этом взъерошил вихор, проведя по нему пятерней, всегда было свидетельством его волнения, это тронуло Нэлу и обрадовало.

И такое бывало теперь постоянно — то из-за книг, то из-за музыки, которой в Бонне было много. Антон говорил, что в музыке ничего не понимает, но слушать ее любил, объясняя, что под музыку хорошо соображает, как решить какую-нибудь проблему. Какие у него проблемы, он не объяснял, и догадаться об этом Нэла не могла, но когда слушали музыку в светлом камерном зале Редута, где юный Бетховен когда-то играл для Гайдна, и она бросала взгляд на своего мужа, то видела в его глазах растерянность и силу в необъяснимом соединении, и это соединение говорило ей о жизни так же много, как музыка Бетховена.

Открыть свою мастерскую не получалось: для этого нужны были деньги, их у Антона не было, а

взять кредит при его неясном статусе оказалось невозможно. Он сердился, но Нэла считала, что ничего фатального не происходит. Гюнтер оплатил курсы, после которых повысил Антону зарплату вдвое, а из-за того, что, окончив университет, она устроилась на работу по специальности, ей дали постоянный вид на жительство, и это означало, что ее муж вскоре тоже получит его, а вслед за тем и кредит на открытие мастерской, и произойдет все это с неотвратимостью природного явления, надо только немного подождать.

В Германии было немало вещей, которые могли довести до белого каления — чего стоила необходимость в октябре записываться к врачу на январь, чтобы проверить зрение! — но как только ты начинал разбираться с каждой из этих раздражающих вещей, то сразу понимал ее причины и следствия. Страховка не могла оплатить всех пациентов сразу, в этом была причина очереди к офтальмологу, следствием же той очереди было — когда Антон порезал

в мастерской руку, повредив артерию, «Скорая» приехала через три минуты, а операционная обычной муниципальной больницы, где ему сшивали нервные окончания, напоминала космическую станцию.

Жизнь, частью которой Нэла с Антоном стали как-то незаметно и буднично, так же буднично, со скучным педантизмом помогала каждому, кто чего-то хотел в этой жизни добиться. В ней не было почти ничего невозможного, и уж точно было возможно открыть мастерскую, если того хочет человек, разбирающийся в механике. Нэла не то что даже думала об этом, она просто знала это внутри себя, как знала, что утром будет рассвет, а вечером закат, и на досаду своего мужа не обращала поэтому внимания.

Они сняли свою первую семейную квартиру в Бад-Годесберге, в квартале старинных вилл, рядом с церковью Сердца Христова. Под окнами их дома цвели то желтые форзиции, то кремовые магнолии, то белые яблони и розовые сакуры, на сосне перед балконом жили белки, а в траве под сосной ежи и

кролики. Это была красивая жизнь, не в пошлом смысле слова, а по-настоящему красивая, полная такой гармонии, которая не каждому образу жизни присуща. И то, о чем Нэла каждый день писала — натюрморты малых голландцев, и сады Лаахского аббатства святой Марии, куда приезжали для долгого уединения люди, которые в таком уединении нуждались, и белые бумажные инсталляции юной художницы из Дюссельдорфа, — было такой же частью этой красоты, как розы, которые выращивала хозяйка дома, где они снимали квартиру.

И в эту их жизнь приехал Антонов дядька Константин Иванович Саблин.

С тех пор как он через какой-то фонд отправил племянника учиться в Германию, от него не было ни слуху ни духу. Нэле казалось это странным — с родителями и с братом она встречалась часто, то в Бонне, то в Москве, а созванивалась и вовсе почти ежедневно. Но в общем-то ее уже не удивляло безразличие друг к другу Антоновых родственников. Может быть, оно происходило от того, что у них не

было общих интересов, может, таково было семейное обыкновение, а может, то и другое вместе. Скорее она удивилась, что дядька все-таки приехал навестить племянника.

Внешне Антон был на него похож, и это почему-то показалось Нэле неприятным, хотя ничего вообще-то не значило. Дядька был невысокий, коренастый, с жесткими, но выразительными чертами лица и с таким взглядом, как будто он присматривался к собеседнику. Правда, это ощущение у Нэлы довольно быстро прошло — или померещилось, или Константин Иванович решил, что узнал невестку достаточно и присматриваться к ней больше незачем.

Выяснилось, что приехал он все же не родню навещать, а на промышленную выставку, которая проводилась в большом кельнском ярмарочном комплексе. Дядька работал на Новолипецком металлургическом комбинате. Кем, не сказал, и Нэла не стала расспрашивать. Судя по костюму от Хьюго Босса, не у доменной печи стоял.

Ей неловко было себе в этом признаваться, но она ждала, чтобы он поскорее уехал, и не потому что родственник нарушил привычный порядок жизни — он и остановился даже не у них, а в отеле, — а потому что был частью чего-то чуждого и, как ей странным образом казалось, опасного. Хотя что опасного было в том, что он выпивал в кухне с племянником, не требуя ни внимания со стороны невестки, ни даже ее присутствия? Но когда Константин Иванович сказал, глядя на цветущую яблоню, нежный запах которой вплывал в открытую балконную дверь:

— Приятно вы тут живете, Тоха! — в его словах Нэла расслышала то ли снисходительность, то ли даже презрение, а по лицу Антона поняла, что тот этими словами унижен и расстроен.

Ей стало не по себе, и она ушла в комнату, извинившись и объяснив, что надо готовиться к интервью. Это было правдой, но если бы она и солгала, едва ли Константин Иванович обратил бы на это внимание. Антон тоже не предложил ей посидеть с ними еще, но этому она была даже рада.

Нэла думала, что дядька останется ночевать, но тот вызвал такси, чтобы вернуться в Кельн.

— Зачем же вам так далеко ехать, — сказала она. — И ведь дорого, ночной тариф.

— Ничего, оплатим, — усмехнулся тот, и его снисходительное презрение снова окатило Нэлу, как холодная волна. — Выпьем на дорогу, чтоб не пылила.

Такси приехало, Константин Иванович вышел, Нэла убрала со стола, вытряхнула пепельницу, поставила в посудомойку тарелки и бокалы… Вернулся Антон, провожавший дядьку до машины.

— Я постелила, — сказала она.

— Посижу еще, — буркнул он. — Сама ложись.

Он был сердит, почему, не говорил, но не трудно было догадаться, что визит родственника и ему тоже не доставил удовольствия.

Когда через час или два Нэла, проснувшись и увидев, что она в постели одна, пришла в кухню, Антон спал, уронив голову на стол, щекой в тарелке с колбасой. Она не смогла ни разбудить его, ни уговорить перейти в кровать.

Нэла так этому удивилась, что даже не расстроилась. Никогда она не видела мужа настолько пьяным, хотя напиться до положения риз не считалось в Германии зазорным. Во время карнавала пьян был, кажется, весь Кельн, а бесчисленные туристы и приезжали-то на этот карнавал, на Нэлин взгляд, именно ради безудержного пьянства на бушующих опасным весельем улицах.

На следующий день — была суббота, выходной — Антон бродил по квартире мрачный, но Нэла отнесла это за счет головной боли. К вечеру он сходил за пивом и уселся в кухне похмеляться.

— Что с тобой? — спросила она, увидев это.

Неприятная тревога охватила ее, и никак невозможно было связывать это с пустыми пивными бутылками на столе. Впрочем, его мутный взгляд был ей неприятен тоже.

— А что со мной? — Он усмехнулся. Усмешка переменила его лицо незнакомым и нерадостным образом. — Живу, хлеб жую.

Надкусанный ломоть черного хлеба с орехами и тыквенными семечками — сортов выпечки в Германии были сотни, Антон любил пробовать разные — лежал перед ним на столе. Он щелкнул по нему ногтем, и, скользнув по столешнице, хлеб упал на пол.

— Ну что ты делаешь? — укоризненно сказала Нэла, поднимая хлеб.

— Вот давай ты воспитывать меня не будешь!

Он произнес это так грубо, будто она сказала ему что-то оскорбительное. Это удивило ее так же, как то, что вчера он уснул щекой в тарелке. Нэла не рассердилась, потому что растерялась. Что-то с ним происходило, но что, было ей непонятно.

— Тебя дядя чем-то расстроил? — осторожно поинтересовалась она.

— А если и так? Что ты сделаешь?

— Может, ничего. — Она села перед ним на стул и положила руку поверх его руки, лежащей на столе. — Но все-таки будет лучше, если ты мне скажешь, в чем дело.

— «Все-таки будет лучше»! — Антон передразнил ее интонацию и убрал руку. — Говоришь, как чужая.

— Почему чужая? — обиделась Нэла.

Наверное, он заметил ее обиду — тон его наконец переменился.

— Тошно мне, Нэлка, — сказал он.

— Не пей больше.

— При чем здесь выпивка! На душе тоска.

— Но почему вдруг, Тоник? — спросила она. — Ничего ведь не происходит…

— Вот именно. Живу, как… Как херр Ханзе.

Господин Ханзе жил в нижнем этаже их дома. Каждое утро в половине седьмого он выносил в контейнеры мусор в трех небольших пакетах, потом подметал каменную террасу у выхода из своей квартиры, потом убирал листья и мелкие ветки, упавшие на его газон, потом садился в машину и уезжал на работу, а ровно в восемь вечера, вернувшись, ужинал за столиком, стоящим в его части сада или, если было холодно, прогуливался вокруг этого столика перед сном.

— Ханзе шестьдесят лет! — засмеялась Нэла. — Что у тебя с ним общего?

Она хотела сказать, что Ханзе одинок, но не стала, это и так было понятно.

— Думаешь, до шестидесяти не доживу? — усмехнулся Антон. — Хотя если как он жить, так может и не стоит.

— Все от тебя зависит, — пожала плечами Нэла.

— Что от меня зависит? — Антон снова разозлился от ее слов, хотя она знала, что их точность сильнее, чем их банальность. — Прямо сейчас могу тебе рассказать, что у меня в тридцать будет, что в сорок… Да хоть в сто, если раньше от скуки не сдохну! Я ведь от этого бежал, Нэлка. — Он открыл очередную бутылку и крупно глотнул пиво из горлышка. — От безнадеги. Дома мне про себя все было ясно — приду из армии, устроюсь на буровую, буду горбатиться, ждать, пока квартиру дадут, хотя это нет, давать-то теперь перестали… Копить на нее буду и на «Ладу Калину» еще! А что у меня здесь-то по-другому? Ну, буровой нету и «Опель» вместо «Калины». Даже на квартиру не хватит.

— На квартиру здесь не надо копить, — вставила в его путаную речь Нэла. — Можно кредит взять.

Она хотела еще сказать, что пока они снимают эту квартиру, она все равно что их собственная. Может, говорить так было бы глупо — Антон и сам все это знал — но он и не дал ей ничего больше сказать.

— Да не хочу я никакого кредита! — заорал он. — Всю жизнь потом над каждым евро трястись, у Селима еду покупать, чтоб подешевле?

— Ты ерунду какую-то говоришь! — воскликнула Нэла. — Ты совсем пьяный, Антон. Все люди так живут, и всем на еду хватает. И на машину хватает, и на… — Она запнулась, не зная, что бы еще перечислить, потом спохватилась, что дело вообще не в этом, и закончила: — Надо понять, какое дело тебе нравится, и им заниматься, вот и все. Остальное приложится.

Ей стало стыдно, что она говорит такие очевидные вещи, и она подумала, что Антон будет прав, если рассердится на это. Но что же делать, если это правда? Настоящая, на себе проверенная правда.

Он не рассердился, но посмотрел на нее таким долгим и странным взглядом, что она поежилась.

— Ты про себя говоришь, Нэлка, — сказал он наконец. — А у меня все другое.

— Но ты же сам решил университет бросить, — напомнила она. — Я, наоборот, хотела, чтобы ты учился.

— Не понимаешь. — Он хмыкнул и мотнул головой. И звук этот, и жест снова показались Нэле незнакомыми. — Я здесь как пыльным мешком стукнутый живу.

— Здесь?

— Конечно.

— Во-первых, это не так, а во-вторых, кто тебе сказал, что где-то в другом месте ты жил бы по-другому? — пожала плечами Нэла.

— Да вот жил бы. Во всяком случае, не о шиномонтаже несчастном мечтал бы.

— Ты же не шиномонтаж собираешься открыть, — машинально возразила она.

— Не цепляйся к словам! Шиномонтаж, мастерскую, забегаловку, какая разница? Я не Селим — наплодил детей, баранину жарит и радуется, что пожрать имеет.

Нэла смотрела в его искаженное гневом лицо, в мутные то ли от пива, то ли от злости, то ли от непонятного ей, но правдивого горя глаза, и молчала. Сердце гулко билось у нее в груди и проваливалось в пустоту.

— Это тебе дядя сказал? — наконец произнесла она.

— А хоть бы и так! Ну да, он. Ткнул носом, как щенка — как я живу, что у меня завтра будет?

— Что же такого у тебя завтра будет? — надеясь иронией скрыть свой страх, поинтересовалась Нэла.

— То-то и оно, что здесь — ничего! А там… Там же сейчас все другое, Нэлка. Нищета кончилась, люди всё имеют. Дураком надо быть, чтоб ничего там не иметь, — уточнил он. — А я не дурак. И дядька поможет.

— В чем? — еле заставляя губы двигаться, спросила она.

— Во всем. Бизнес, связи. У него в Москве представительство, люди надежные нужны. Короче, Нэл, надо нам возвращаться. — Антон всмотрелся в ее лицо тем же незнакомым взглядом и спросил: — Помнишь, на выставку ходили? Про погоду что-то — картины, приборы, макеты всякие. Я до сих пор помню. — Наверное, он решил, она молчит потому, что забыла про эту выставку, на которую еще в прошлом году сама же его и затащила, потому что ей показалось, ему будет там интересно. — Стоят немцы кружком, рассматривают скелет птицы какой-то. Зачем он им? Ладно дети, но взрослые-то, причем они к этой птице? Неделю впахивать, чтоб в выходной ничего лучше не иметь, чем птицын скелет разглядывать!

Она молчала. Не потому что не находила слов — хватило бы ей слов, чтобы объяснить, как множество простых событий, отношений, предметов, привычек, сплетаясь друг с другом, образуют ткань обыденной жизни, и ткань эта надежно держит че-

ловека, когда у него иссякают силы. Нэла не из собственного опыта это знала — лет ей было мало, и сил у нее было много, — но все, о чем она читала, все, чем были картины на стенах музеев и совершенные дома на улицах городов, говорило ей об этом так же ясно, как фигурки каменных лягушек, которые собирала и расставляла среди цветов в своем саду соседка, как аахенские пряники и кельнские ангелы на рождественской ярмарке, и дети, поющие на улице в день королей-волхвов, и… Какой плотной была эта ткань, какой надежной!

Все это она могла бы сказать своему мужу. Но молчала. Его «надо нам возвращаться», брошенное вскользь, как само собой разумеющееся, будто она была его рукой или ногой, будто не было у нее ни собственной жизни, ни работы, ни друзей, ни стремлений, ни представлений о счастье, — сразило ее наповал, заставило онеметь.

В тот вечер Антон не стал продолжать разговор — допил пиво, лег и уснул как убитый. Но, конечно, никуда его мысли не девались, как не исчезает бесследно ничто, поселяющееся у человека в сознании.

Глава 6

Все начало происходить так быстро, что Нэла не верила, что это происходит наяву. События кружились перед нею, как фигуры на детской карусели. Они с Антоном совсем недавно стояли перед такой каруселью в нормандском Онфлере; после того как он купил подержанный «Опель», их путешествия по выходным стали еще разнообразнее. Только в том кружении фигуры не исчезали, каждая лошадка и жирафа появлялась перед глазами снова и снова, а в неожиданно начавшемся кружении их жизни все исчезало мгновенно, как в воронке, куда уходит вода, увлекаемая силой Кориолиса. И непонятно было, какая сила уносит в бездну их общую жизнь.

Антон съездил в Москву, вернулся, уволился из мастерской Гюнтера, продал машину, сказал, что нашел работу и что Нэла приедет к нему сразу, как только он снимет квартиру, то есть в ближайшее время, но если она хочет, то можно сразу ехать

вдвоем, только придется им тогда пожить раздельно, потому что с ее родителями жить он не хочет, а перебиваться по дядькиным знакомым вряд ли захочет она, если б те и предлагали.

Нэла слушала его и не верила своим ушам.

— Тебе что, вообще ничего не дорого? — спросила она однажды вечером.

Антон только что вернулся от приятеля, с которым вместе работал у Гюнтера — относил дрель, которую брал месяц назад, чтобы повесить картину, купленную как раз в Онфлере у уличного художника.

— Что не дорого?

Он смотрел на нее и не понимал, о чем она спрашивает, глаза у него блестели, и ясно было, что он уже не здесь, не на тихой этой улочке, а там, где задумал для себя другую жизнь, и нет на белом свете такой силы, которая могла бы его заставить от той желанной жизни отказаться, и уж точно не является такой силой любовь, если она вообще у него есть.

Самое ужасное было в том, что, думая все это, глядя на своего мужа, Нэла чувствовала, что ее любовь к нему только усиливается, когда она видит его вот такого, ерошащего волосы надо лбом, думающего непонятно о чем, стремящегося непонятно к чему и обнимающего ее с такой лаской и силой, которой и тело ее, и сердце отвечают одновременно.

Да, не дождавшись, чтобы она уточнила свой вопрос, Антон обнял ее, и они стали целоваться, потом оказались в кровати, потом уснули одновременно, будто провалились в беспамятство, а назавтра он уехал чуть свет, потому что в Москву был ранний рейс, напомнив Нэле, что ждет ее не позже как через месяц и, если надо, приедет, чтобы помочь ей продать ненужные вещи, собрать нужные и перевезти ее в Москву.

Она была так ошеломлена, что не могла даже сказать ему, что не будет ничего этого делать — ни продавать, ни собирать, ни переезжать.

А когда он уехал, то поняла, что не может без него жить.

Физически не может — задыхается. Это было так странно! Когда Нэла почувствовала это впервые, то испугалась, потому что никогда еще ее чувства не становились физическими ощущениями. Они были тонкой материей, им не место было в горле, пищеводе и желудке, но теперь вдруг оказалось, что у нее именно сдавливается горло, сужается пищевод и выворачивается желудок.

Она не могла ни есть, ни пить, ни дышать, днем еще было ничего, а ночами, и особенно под утро, подступал такой ужас, что, живи Нэла на высоком этаже, она не была бы уверена, что не выбросится из окна. Она читала о том, что так бывает, но и представить не могла, что подобное может происходить с нею — ее жизнерадостность была надежной страховкой от явлений такого рода. Но теперь это происходило, день за днем, ночь за ночью, и к исходу недели она совершенно обессилела.

«Зачем я себя мучаю? — наконец подумала она, глядя, как светлеет окно. — Он что, в Зимбабве меня

зовет? Да в Москву же, это же я ее люблю, не он даже!»

Это была правда. Может, потому что все пять лет, которые она жила в Германии, Нэла приезжала в Москву по любому поводу — театральной премьеры или выставки в какой-нибудь маленькой галерее было для этого достаточно, — а то и без повода вовсе, а может и по какой-то другой причине, о которой не ко времени было думать сейчас, но она не чувствовала никакой своей от Москвы отдельности. Дело было, пожалуй, даже не в том, что там были родители, брат, дом на Соколе, но в том, что Москва была шкатулкой с драгоценностями, и сердце у Нэлы замирало каждый раз, когда она открывала ее, и она могла открывать ее снова и снова, это не надоедало никогда, как никогда не надоедало ей подниматься по ступенькам Большого театра или гулять по бульварам от Арбата до Неглинной.

И стоило ей подумать об этом сейчас, как драгоценная шкатулка открылась в ее сознании будто на-

яву, и исчез необъяснимый мучительный страх, и перестало сжиматься горло, и она наконец вздохнула так глубоко, что воздух побежал по всему ее телу, оживляя его.

«Я же всегда знала, что должна жить в большом городе, где каждую минуту происходит новое, — впитывая этот живительный воздух каждой клеткой, подумала она. — Вот это теперь и будет, и хорошо!»

— Я поеду в Москву, — сказала Нэла. В наполняющейся утренним светом комнате ее одинокий голос прозвучал странно, но ей необходимо было произнести эти слова вслух. — Буду жить там с Антоном и буду счастлива.

Нэла открыла глаза в кромешной тьме. Ей казалось, что она спала, но нет, наверное. Ни проблеска рассвета не было за окном, значит, прошло совсем мало времени.

— Почему не спишь? — спросил Антон.

Скорее следовало удивляться тому, что он не спит сам и что голос его звучит так, будто он и не засыпал даже.

От воспоминаний, которые некстати теснились в голове, Нэла чувствовала смуту и едва ли не страх.

— Так. Мысли всякие, — сказала она.

Пожалуй, зря сказала, ей совсем не хотелось, чтобы он знал, какие это были мысли.

— Какие? — тут же спросил он.

Ее глаза привыкли к темноте, и она видела, что Антон лежит на боку, подперев голову рукой, и смотрит на нее. Его глаза поблескивали, хотя света в комнате не было. Точно так же, без видимого источника света, поблескивали кристаллы Авроры на заколке, которую, вынув из волос, Нэла оставила на столике у кровати.

— Всякие, — ответила она. И добавила наобум: — Про дом, например.

— Про какой дом? — Он удивился, но тут же догадался: — Гербольдовский, на Плющихе? Нашла

про что ночью думать! Какой ты хочешь, такой его и сделаю, Нэл, слово даю.

Он сказал это с такой мальчишеской интонацией, что Нэла засмеялась. Остатки смуты вылетели из ее сознания, будто она окно у себя в голове распахнула.

— Что я могу хотеть? Я его еще и не знаю даже, — сказала она. — В архиве надо посидеть. Папу расспросить — может, он что-нибудь расскажет.

— Давай, — Антон притянул ее к себе, и она зажмурилась, ткнувшись лбом в его плечо. — Твой он, твой, не сомневайся.

Она, конечно, не считала своим дом, построенный архитектором Гербольдом. Ее дом был здесь, на Соколе. Впрочем, и его ведь тоже построил этот неведомый прадед.

Глава 7

Гербольд не заметил, когда пришло чувство, что этот дом — его. Во всяком случае, произошло это уже давно и можно было бы к этому привыкнуть, но он не привык, и каждый раз, когда подходил к дому, чувствовал, как рука счастья сжимает его сердце. Эта метафора, однажды пришедшая в голову еще три года назад, оказалась такой точной, что он помнил ее до сих пор.

Но вообще он старался не думать о таких вещах, поскольку еще в ранней юности заметил, что сентиментальность является заменой настоящим чувствам и что сентиментальны чаще всего люди сомнительных моральных качеств.

Впрочем, все, что происходило сегодня в течение рабочего дня, никоим образом не способствовало сентиментальности, да и никаким чувствам не способствовало. Было общее заседание Объединения современных архитекторов, в которое он вступил год назад, с Ассоциацией новых архитекторов,

только что образовавшейся. Спорили до посинения — Гербольда особенно вывело из себя заявление Мельникова, что он-де превращает инженерную конструкцию в фетиш. А когда вышли на улицу, то Коля Незлобин, с которым вместе учились во ВХУТЕМАСе, а потом основали архитектурное бюро, мрачно сказал:

— Спорим, ругаемся — мы им про монолитный облик здания, они нам про психологическое восприятие архитектуры… А на самом-то деле что прикажут, то и будем строить, еще спасибо скажем, если хоть что-нибудь дадут.

Гербольд вспылил в ответ на Колины слова, но потому и вспылил, что понимал их справедливость. Их бюро теряло заказчиков одного за другим, тот же единственный заказчик, который не терялся, а наоборот, набирал все больше силы, хотя больше уже, кажется, было некуда, — этот заказчик не интересовался спорами между конструктивистами и рационалистами, имел собственные представления о том, что и как следует строить, а главное, о том, чего

строить не следует, и настаивал на этих своих представлениях — примитивных, иногда просто дремучих — с абсолютной безаппеляционностью.

Гербольд открыл калитку и пошел по расчищенной от снега дорожке к дому. С каждым шагом по ступенькам крыльца он чувствовал, как усталость и раздражение, наполняющие его, рассеиваются, то есть буквально рассеиваются по его телу и оттого теряют силу.

«Надо будет у Ольги спросить, что за эффект такой, — подумал он уже почти весело. — Возможно, есть физиологические обоснования».

Он не стал отпирать дверь сам, а позвонил, ожидая услышать топот Васиных ножек и вслед за ним не звук даже, а отзвук, возникающий в стенах дома от шагов жены. Менее всего он был склонен к какой-либо мистике, и потому считал, что этот отзвук — а Леонид слышал его каждый раз, стоя на крыльце и ожидая, когда она откроет ему, — является просто физическим колебанием определенной частоты, а

сам он всего лишь обладает способностью улавливать такие частоты, как прибор. Существует ли такой прибор в действительности, было ему неизвестно, но хотелось думать, что существует. Иначе пришлось бы думать как раз о всяческих сентиментальностях, чего он вот именно терпеть не мог.

Дверь открыла Марфа. Войдя, Леонид сразу вдохнул запах сдобы, ванили, корицы. Кулинаркой она была виртуозной, и в доме не бывало дня без свежей выпечки, даже в прошлом году, когда и за черным хлебом везде стояли очереди.

— Евдокия Романовна ушла на репетицию, — сообщила Марфа. — Васю с собой взяла. Ужинать будете, Леонид Федорович, или их дождетесь?

— Не буду, Марфа, спасибо, — ответил он. — Ни ужинать, ни дожидаться. Схожу за ними.

Марфа кивнула и ушла в кухню. Непустословие было таким же драгоценным ее качеством, как педантичность и чистоплотность. Когда-то Леонид прочитал у Чехова — тот иронизировал, что же-

ниться надо на немке, тогда ребенок не будет ползать по дому и бить в медный таз. И женился он не на немке, и Марфа была самой что ни на есть русской, но двухлетний Вася, будучи ребенком веселым и подвижным, под ее попечением никогда не производил в доме бессмысленного шума. А может, производил, просто Леониду этот шум казался райской музыкой.

Марфина педантичность проявлялась в числе прочего в том, как она выполняла просьбы; приказаний прислуге Леонид давать не научился, да и Марфу прислугой не считал. Не считал он ее, впрочем, и членом семьи: она держалась отстраненно, то ли себе не позволяя фамильярности по отношению к хозяевам, то ли их к себе близко не подпуская.

Одна из просьб — ее Леонид высказал, узнав, что Марфа окрестила Васю, — была не учить мальчика молитвам, не водить в церковь и не приобщать к каким бы то ни было религиозным отправлениям. Не то чтобы он был воинствующим атеистом, но полагал, что незачем приучать ребенка к тому, что на

людях происходит одно, а дома другое, и воспитывать в нем таким образом двоемыслие. На такую его просьбу Марфа не возразила ни словом, ни жестом, ни даже движением бровей, хотя понятно было, что это не могло ей понравиться.

Марфа была монахиней и появилась в доме Гербольда вскоре после его женитьбы. Когда закрыли Марфо-Мариинскую обитель, часть насельниц выслали из Москвы в Туркестан, часть уехала куда-то в деревню под Тверь, остальные же рассеялись по всему Советскому Союзу и по прошествии трех лет вряд ли были еще живы. Леонид считал свой запрет относительно Васи не слишком большой платой за то, что Марфина судьба сложилась удачнее, нежели у ее товарок, тем более что в ее собственные верования он не вмешивался.

Репетиции происходили в соседнем доме. История с ним вышла неприятная: строил его для себя инженер Лютце, следил за работами внимательнейшим образом, на площадке бывал ежедневно, вникал и во все общественные дела поселка, вроде

устройства детского садика — конечно, имея в виду будущую свою женитьбу и рождение детей, полагал Леонид. Но ровно в тот день, когда дом был готов и оставалось его лишь обставить, инженер выехал из Москвы в Ленинград в командировку и обратно не вернулся — перешел в Финляндию, притом буквально перешел, по льду залива, уж неизвестно, как ему это удалось. Его отличный добротный дом, построенный современным методом из утепленных деревянных щитов, поступил в ведение правления, оно же до окончательного решения о новом владельце представило пустое помещение соколянской театральной труппе.

Премьера была назначена на тридцать первое декабря. Хоть елки и были отменены как буржуазное явление, но, во-первых, это относилось к Рождеству, а не к Новому году, во-вторых, можно было отмечать его и без елки — спектаклем, например. «Вечера на хуторе близ Диканьки» подходили для этого наилучшим образом: и детям интересно, и взрослым весело.

Мороз стоял трескучий, звезды сияли на небе крупными кристаллами, ярко освещенный дом, в котором шла репетиция, со всех сторон был виден в темноте.

Обнести дом штакетником инженер Лютце не успел, поэтому Леонид подошел прямо под окна. Занавесок не было, и, прижавшись лбом к заиндевелому стеклу, он увидел всю просторную комнату первого этажа, где шла репетиция.

В дальней части комнаты устроена была сцена с раздвижным бархатным занавесом, который сшили работницы экспериментальной артели «Женский труд», недавно образованной в поселке. Артель изготавливала детские игрушки, но и оформление для спектакля сделала отменное.

Занавес был украшен золотыми звездами и серебряным месяцем, тем самым, который украл черт. Сейчас занавес был раздвинут и на сцене плясали артисты, одетые диканьскими дивчинами и парубками. Главной красавицей, конечно, была Оксана, не зря кузнец Вакула добыл для нее черевички у самой царицы.

Леониду до сих пор казалось, что от нее исходит сияние. Она была его женой уже почти три года, она родила ему сына, но каждый раз, когда его взгляд ненадолго оставался без нее, а потом находил ее снова, это было как световой удар, и она представала перед ним словно впервые.

Танец на сцене закончился тем, что актеры замерли в эффектных позах, а Оксана вышла вперед и запела. Звуки не проходили через добротно сделанные окна, а Леониду так захотелось услышать ее голос, что он поскорее взбежал на крыльцо, вошел в прихожую, оттуда в комнату и остановился на пороге.

Стулья уже были расставлены рядами для завтрашнего спектакля, но и сегодня, к генеральной репетиции, зрителей собралось немало. Однако тишина в зале стояла абсолютная.

— Ніч яка місячна, зоряна, ясная, — пела она, — видно хоч голки збирай! Выйди, коханая…

Леонид вырос в северных краях, весь строй жизни которых был сдержан и строг. Может быть,

потому задушевность этой мелодии, этой певучей речи так бередила ему сердце. А может быть, ни мелодия, ни речь были ни при чем, но все дело было в ее голосе…

Последние звуки затрепетали в воздухе, взлетели вверх, растаяли в тишине. Все захлопали, задвигались, зашумели. Занавес закрылся, открылся снова, артисты стали кланяться, зрители поднялись с мест, подошли вплотную к сцене. Леонид тоже оторвался от дверного косяка и пошел через зал. Донка увидела его, и лицо ее просияло под цветочным венком сельской дивчины Оксаны. Хотя разве могло сияние ее лица быть сейчас большим, чем в любую минуту, когда он ее видел?

Он подал Донке руку, и она спрыгнула со сцены, несколько раз чечеточно ударив при этом об пол каблучками.

— Здравствуй, — сказал Леонид, быстро касаясь губами ее щеки. — Замечательная у вас завтра будет премьера. А Вася где?

— Да вон же. — Она так же быстро прижалась щекой к его щеке и, отстранившись, указала в дальний угол зала. — Ольга Алексеевна его забавляла, пока мы репетировали, а он уснул.

Леонид обернулся и увидел Ольгу Морозову. Она поднялась со стула и помахала ему одной рукой, другой держа Васю. Он спал, положив голову ей на плечо, белый валеночек свалился с его ноги. Леонид подошел к Морозовой, поднял валенок и взял у нее ребенка.

— Здравствуйте, Леня, — сказала та. — Марфа предлагала Васеньку дома оставить, но тут как раз я зашла и уговорила Донку его взять. Мне показалось, ему интересно будет. Так и вышло — смотрел открыв рот, пока его не сморило. Когда Театр Петрушек в следующий раз приедет, непременно надо будет его на представление взять.

Театр Петрушек создали супруги Ефимовы, и хотя работали они в Мамоновском переулке, но давали и выездные спектакли, и никогда не отказывались от предложения выступить в поселке Сокол,

где у них было много друзей. Ефимовы вместе со своим концертмейстером Еленой Владимировной Дервиз приезжали на извозчике, нагруженном ящиками с куклами и театральными ширмами, и уже сам этот приезд был таким праздником, с которым мало что могло сравниться. Спектакли их — «Принцесса на горошине», басни Крылова, веселые интермедии — производили на детей огромное впечатление. А когда Иван Семенович Ефимов после представления показывал, как он управляет куклами, в зале стоял громкий вопль восторга.

Васю считали маленьким, чтобы брать на эти представления, но раз Ольга полагает, что пора, значит, так тому и быть.

— Благодарю, Оля, — ответил Леонид. — Вам-то не мешал он смотреть?

— Никак нет, — засмеялась Морозова. — Исключительно серьезный и вдумчивый ребенок. Черта, правда, испугался, но даже и тогда не заплакал.

— Ты освободилась? — Леонид обернулся к жене. — Или будешь еще репетировать?

— Переоденусь, разгримируюсь, и можем идти, — ответила Донка.

— Тогда мы на улице тебя подождем, — сказал он. — Чтобы Вася не проснулся.

В зале стоял шум — все обсуждали спектакль, кто-то напевал песню, только что звучавшую со сцены, кто-то пританцовывал и пытался воспроизвести чечетку, — но Вася спал так крепко, что не слышал всех этих звуков и не чувствовал, как отец и Ольга одевают его в цигейковую шубку и вязанную из кроличьего пуха шапку.

— Необыкновенно на вас похож, — сказала Ольга, заправляя под шапку длинную прядь Васиных льняных волос. — Ведь вы северный человек, псковский? Вот и мальчик чистый викинг, не то варяг.

— Надеюсь, будет не викинг и не варяг, — улыбнулся Леонид. — Те и другие были просто разбойники.

— Кстати, кто ваши родители, Леня? — спросила Морозова. — Я не предполагаю, что они разбойники!

— засмеялась она. — Просто интересно, в кого вы такой.

— Их уже нет, — ответил Леонид. — Отец умер, когда мне десять лет было. Он был военный инженер, мама по нему получала пенсию и давала частные уроки английского и немецкого. Она перед революцией умерла, а я вскоре в Москву уехал.

Вышли на улицу и остановились у крыльца, ожидая Донку.

— Давно вас не видела, Леня, — сказала Морозова.

— Работы много. — Леонид пожал плечами. — Это хорошо.

— Однако вид у вас усталый, — заметила она.

— Много работы, — повторил он. — Строится Москва.

— Довольно однообразно строится. Все какие-то кубы, острые углы. Скучно.

— Зря вы так думаете, — возразил Леонид. — Ничуть не скучно. Конструктивизм — ведущее европейское направление. Видели здание, что Корбюзье

для Всесоюзного общества кооператоров спроектировал? Строго, стройно, функционально.

— На Мясницкой? Оно, пожалуй, красивое, — согласилась Морозова. — Но в общем мне это ваше направление совсем не нравится. Вот именно функциональность его не нравится, — уточнила она. И добавила: — Может, строили бы вы, Леня, как Казаков строил, что-нибудь на манер Пашкова дома, то и не уставали бы так. А впрочем, не обращайте внимания, это я глупости болтаю! На работе некогда говорить об отвлеченных вещах, а Витя все, что я могу сказать, и так знает. Вот и отвожу душу на вас и Донке. Как танцует она, как поет, а? Драгоценность, бриллиант настоящий.

— Она с концертмейстером репетирует, — с гордостью сказал Леонид. — Концерты скоро будет давать.

Открылась дверь дома, Донка сбежала по ступенькам, подошла к мужу и Ольге.

— Спасибо, Ольга Алексеевна, что с Васей побыли. — Она так и не привыкла называть обоих Морозовых без отчества, просто по имени. — Что ж, пойдем домой?

Это Донка сказала уже мужу. От того, как она посмотрела при этом ему в глаза, у него забурлила кровь, притом буквально забурлила. Ничего чувственного не было в светлом взгляде ее черных глаз, но он почувствовал такое сильное желание, что самому стало неловко. Может быть, оттого, что она еще была возбуждена недавним пением и танцем, и ему передалось ее возбуждение. Хотя нет. Конечно, не по этой причине.

— Уже домой? А я вас хотела к нам позвать! — сказала Морозова. — Еще рано совсем, а у нас нынче гость интересный, для вас, Леня, в особенности. Да и сколько уже не было случая посидеть, поговорить. Придете?

Леонид заколебался. Конечно, он голоден, устал после работы, но ведь и выходной завтра, и интересный гость — почему для него в особенности? — и в

самом деле давно у Морозовых не были… Он краем глаза взглянул на жену и сказал:

— Спасибо, Оля. С удовольствием придем. Если Донка не против.

Ее лицо просияло. Она до сих пор не привыкла, что он любит исполнять ее желания, а потому легко их угадывает.

— Васю домой отнесу и приду, — сказала Донка. — А вы теперь же идите.

— Васю я и сам отнесу, — возразил Леонид. — И, кстати, возьму ужин. Не будем Марфу обижать, не зря же она готовила. Идите, идите. Через четверть часа буду.

Глава 8

У Морозовых Леонид оказался не раньше чем через три четверти часа. Вася, когда с него стали снимать шубку, надевать байковую ночную рубашечку и укладывать, проснулся и расплакался. Пришлось поить его теплым молоком и носить по детской на руках, чтобы он уснул снова. От его раскрасневшихся в тепле щечек до сих пор пахло морозом. Свежестью, вернее.

Единственное сходство сына с Донкой состояло в форме глаз, цвет же у них, миндалевидных, был светло-серый, как у Леонида, и взгляд, Донка утверждала, такой же внимательный, как у него. Леонид поцелуем осушил слезу в уголке Васиного глаза, и слеза эта показалась ему сладкой.

К тому времени как он спустился из детской вниз, Марфа обернула кастрюльки с едой полотенцами и укутывала их поверх полотенец шотландским пледом. Плед Морозова подарила через несколько дней после той ночи, в которую Леонид

одолжил его, чтобы Донке было чем укрыться в его пустом доме. Когда он принес плед обратно, Ольга сказала: «Оставьте себе, Леонид Федорович. На память». Она была прозорлива, поэтому догадалась, что события, связанные у него с этим пледом, стоят памяти. А может, никакой не надо было для этого догадливости — все читалось тогда по его лицу.

— Не надо плед, Марфа, — сказал Леонид. — Идти пять минут, не остынут.

Он шел по деревянным мосткам соколянской улицы, смотрел на сверкающее яркими звездами небо, чувствовал усталость — в конце концов, ведь это только усталость обычного рабочего дня, ничего больше, — радовался, что впереди вечер с друзьями, а за ним ночь, и Донка, и Васино сопенье за стеной, и знал, что все это вместе есть счастье, неизвестно за что подаренное ему судьбою.

В доме у Морозовых чувствовался праздник. Впрочем, возможно, это ощущение происходило из-за того, что Ольга умела создавать простую, но оригинальную атмосферу даже в пустоте. Когда, только

начав строительство своего дома, Леонид побывал у Морозовых впервые, их дом именно был совсем почти пуст, но все равно не был ни уныл, ни похож на какой-либо другой. Псковский домик матери, крошечный и уютный, а тем более его холостяцкая комната на Рождественском бульваре не производили на Леонида такого впечатления, как морозовский дом. Это стоило удивления, потому что Ольга была типичной современной женщиной и, соответственно, ее жизнь проходила в основном не дома, а на работе в Первой градской больнице. Впрочем, хоть Донка проводила дома целые дни — игру в любительском театре вряд ли следовало принимать во внимание, — создавать такую атмосферу она не умела. То ли неприкаянность ее прошлого была неодолима, то ли вкус Ольги Морозовой недосягаем.

Стол был уже накрыт, посередине стояло блюдо с узбекским пловом, но принесенной Леонидом еде все обрадовались.

— Марфа ваша — просто сокровище, — сказал Виктор Морозов, когда из открытой кастрюльки с кнелями под грибным соусом пошел головокружительный запах. — Где вы ее только нашли?

Донка познакомилась с Марфой в то время, когда обе они скитались без крыши над головой по вокзалам и каким-то еще местам, о которых она вспоминать не хотела, а Леонид и рад был, чтобы его жена забыла их как можно скорее. Появлению Марфы, которую Донка, выйдя замуж, неизвестно как отыскала, он не обрадовался именно по этой причине. Но Донка проявила настойчивость, и Марфа водворилась на Соколе. Что, учитывая Донкину неумелую бездомовность, пришлось кстати, особенно когда родился Вася.

Обещанный гость уже сидел на диване под прекрасным сюзане, привезенным Ольгой из Туркестана. Он в самом деле оказался интересен Леониду, потому что отчасти являлся его коллегой. Звали его Эндрю Бенсон, он был инженером и приехал из Детройта, чтобы строить на дальней окраине

Москвы завод для производства автомобилей Форда. Бенсон прибыл в СССР недавно, русского языка еще не знал, но намеревался изучать. Впрочем, все собравшиеся, кроме Донки, знали английский, кто в совершенстве, как Виктор, кто на приемлемом уровне, как Леонид и Ольга, так что трудностей при разговоре не возникало. Да и в самом Эндрю было так много обаяния, что невозможно было представить, чтобы общение с ним могло оказаться трудным. Одни лишь его глаза, светло-голубые, то и дело вспыхивающие улыбкой, вызывали мгновенную приязнь.

— Мы, Леня, пока вас не было, спорили, — сказала Ольга, раскладывая по фарфоровым гарднеровским тарелкам нарезанный курник; Марфа готовила этот многослойный и многосложный пирог виртуозно. — Я считаю, что Москва выглядит уныло, а Эндрю со мной категорически не согласен.

— Даже ваш Сокол вовсе не выглядит уныло, — заметил Эндрю. — Кстати, кто придумал такое эффектное название?

— Намеревались строить в Сокольниках, — ответил Леонид. — Потом строительство перенесли, а название осталось в таком вот виде. В Сокольниках площадка оказалась неподходящая, — пояснил он. — А здесь песчаные почвы отлично подошли.

— Сокол наш ото всей остальной Москвы отличается разительно, — добавила Ольга. — Потому мы и решились на переезд, хоть я на Остоженке родилась, а здесь дальние выселки, и даже электричества у нас до недавних пор не было, и на работу мне отсюда через весь город ехать приходится.

— Но в части того, что Москва застраивается уныло, я согласиться никак не могу, — вернулся к теме Леонид. — В конце концов, это относится к моей профессиональной сфере, и я с уверенностью скажу: такого размаха, такой свободы, как в нынешнее десятилетие, архитектура никогда еще не знала.

— Оно заканчивается, — поизнес Морозов.

— Что заканчивается? — не понял Леонид.

— Десятилетие. Начинается новое.

— Это всего лишь числа, Витя, — пожал плечами Леонид. — Двадцать девятый год или тридцатый — это всего лишь хлопок пробки от шампанского.

— Кстати, о шампанском, — сказала Ольга. — У нас есть бутылка, и я предлагаю распить ее сейчас же.

— Жалко, Ольга Алексеевна, — заметила Донка. — Ведь вы ее наверняка к новогодней ночи приготовили.

— В новогоднюю ночь я работаю, Витя к матери поедет. Открывайте, Леня. Только не гусарствуйте, я боюсь, когда пробка стреляет.

Стреляющей пробки Леонид, конечно, не боялся, но Ольгину просьбу выполнил. Шампанское, лишь слегка хлопнув, полилось в бокалы, и его веселый шелест усилил ощущение праздника.

— Я рад быть в Москве и рад, что Виктор познакомил меня со своей женой и друзьями, — сказал Эндрю. — Я понимаю, что имеет в виду Леонид, когда говорит о невиданном размахе. Мы тоже это ощущаем — я имею в виду всех, кто приехал сейчас

в СССР из Америки. Нас ведь здесь много, — пояснил он, глядя почему-то на Донку. — Советское торговое представительство опубликовало в Нью-Йорке рекламу, что вы нуждаетесь в специалистах, и на десять тысяч вакансий сразу же прислали сто тысяч заявлений. Представьте себе только!

Донка улыбнулась. Странно было, что слова Эндрю вызвали у нее улыбку, она ведь не понимала их смысл. Да если бы и понимала — что уж в них такого для нее радостного?

— Думаю, скоро здесь будут настоящие американские колонии, — ответив Донке такой же ясной улыбкой, продолжал тот. — Строительство просто грандиозное! Не только в Москве, но еще в двух больших городах на Волге, и на Днепре, и где-то в области российских черноземов, и на Урале. Я читал в «Нью-Йорк таймс», что одна только фирма Альберта Кана спроектировала уже пятьсот предприятий для СССР. Даже не сомневаюсь, что все эти проекты у вас реализуются. А тот тракторный завод, который будет на Волге, целиком строят сейчас у нас, потом

разберут, перевезут через Атлантику сюда и соберут снова.

«Почему она так на него смотрит? — Леонид чувствовал уже не удивление, а беспокойство. — С какой стати?»

— Приятные перспективы для американской промышленности, — усмехнулась Ольга.

— Почему же только для американской? — возразил Эндрю. — Ведь все эти заводы будут построены здесь. У ваших людей появится настоящая индустриальная работа, они приобретут высокую квалификацию.

— Те, кто выживет, — добавил Морозов.

— Ты сегодня что-то мрачен, Витя, — заметила Ольга.

В ее голосе явственно послышалась тревога.

— Извините, — сказал Морозов. — На работе обстановка напряженная, оттого мне все, может быть, в слишком мрачном свете видится. А может быть, не видится! — добавил он с сильным чувством, которого явно не мог сдержать.

Что именно в Госплане, где работал Морозов, так его расстроило, было Леониду неизвестно, но в высокой квалификации Виктора он не сомневался, поэтому не сомневался и в том, что тот не сгущает краски.

Однако сейчас его волновало не мрачное настроение соседа, а почему Донка так смотрит на американца.

Впрочем, уже через минуту ни Морозов не был мрачен, ни Донка на Бенсона не смотрела. Выпили шампанского, развеселились, включили патефон — вот она, прелесть отдельно стоящего дома, можно не бояться побеспокоить соседей! — и стали танцевать. Леонид подумал было, что жена захочет танцевать с Эндрю, и ему сделалось не по себе, но она положила руки ему на плечи, он обнял ее за талию, они сделали по комнате несколько туров вальса, и все время, пока танцевали, Леонид видел в ее взгляде, обращенном на него и ни на кого более, то радостное сияние, от которого сердце его вспыхивало счастьем.

Ей хорошо, и даже американец злосчастный является просто частью того, от чего ей хорошо — ее любви к мужу, дружбы с порядочными людьми, милого дома, в котором спит ребенок, тихой улицы, на которой стоит этот дом, ярких звезд над ним в морозном небе… Все это, обняв свою жену, Леонид почувствовал так же ясно, как чувствовал в себе. Глупость подозрений относительно Эндрю Бенсона, глупость и неуместность ревности стала ему так очевидна, что он покраснел бы, если б мог.

Вальс закончился, Бенсон и Ольга зааплодировали.

— На вашу жену, Леня, можно смотреть не отрываясь, — сказала Ольга. — Как на кошку.

— Почему же именно на кошку? — засмеялась Донка.

— А я, помню, в командировке была в Тамбове и воспалением легких заболела, да так, что чуть не умерла. Однако выздоровела, и вот лежу после этого в доме у Витиных тамошних друзей, от слабости пошевелиться не могу, только и остается, что за

кошкой наблюдать. Я к животным совершенно равнодушна, но какое же это оказалось завораживающее зрелище!

— Почему? — не понял Леонид.

— Потому что естественность абсолютная. Ни одного неловкого движения, ни одного дисгармоничного. Вот как у Донки.

Все засмеялись, кроме Виктора — он в самом деле был сегодня мрачен. Потом Ольга вспомнила, что обещала дать Донке адрес портнихи, которая шьет прекрасные концертные платья — «такие, знаешь, что даже спина не скучная», — и пока они вместе с заинтересовавшимся Эндрю обсуждали, что это означает, не скучная спина, Леонид с Морозовым вышли на застекленную веранду покурить.

Свет зажигать не стали. Глядя, как мерцает в полумраке огонек Витиной папиросы, Леонид спросил:

— Что-нибудь случилось? — И объяснил, чтобы не выглядеть праздно любопытствующим: — Может, помощь нужна?

— Нужна. — Леонид расслышал в голосе Морозова усмешку, которая показалась ему не просто

невеселой, а горестной. — Только оказать ее никто не сможет.

— Почему?

— А ты не понимаешь?

Леонид промолчал. Понимает, да, и точно так же понимает, как Виктор. Но что толку, если они начнут сейчас это обсуждать? Какой смысл в словесном мазохизме?

— В деревне еще хуже, — словно расслышав его мысли, сказал Морозов. — Здесь по крайней мере террор моральный, для большинства из нас, во всяком случае. А там-то физический.

— Что ты имеешь в виду?

— Что от нас, городских, сколько-нибудь образованных людей, пока лишь требуют публично каяться, отказываться от своих взглядов, раболепствовать перед этой бандой, которая захватила власть, перед этим ничтожным восточным деспотом, который ведет страну к погибели. А в деревне просто разоряют и убивают всех, кто способен работать, производить.

— Ты не преувеличиваешь, Витя? — поморщился Леонид. — В конце концов, была публичная дискуссия, как должна развиваться страна, и было решено, что…

— Какая дискуссия! — перебил Морозов. — Когда оппонентов сначала унижают, а потом расстреливают, это не называется дискуссией. И побеждает в таком, с позволения сказать, споре отнюдь не тот, на чьей стороне правда.

— Однако индустриализация идет, и стремительно, этого нельзя не видеть, — возразил Леонид. — Мне тоже не все нравится в том, как она осуществляется по отношению к деревне, но нам необходимо догнать развитые страны, а значит…

— Если хочешь догнать развитые страны, надо не картины из Эрмитажа распродавать и не зерно у крестьян выгребать подчистую, чтобы заводы за границей покупать, а твердо обеспечить права личности, — отрезал Морозов. — А у нас Каганович ничтоже сумняшеся заявляет: советское государство и не является правовым, его законы определяются

целесообразностью в каждый конкретный момент! — Он нервно смял папиросу в медной пепельнице с фигуркой дракона. — Не бывает при таком подходе ни развития, ни благосостояния, поверь мне, Леня. Это не мои домыслы, а экономический закон. При таком подходе бывает только война.

Щеки у него горели от волнения так, что это было видно даже в сумраке.

— С кем война? — вздрогнул Леонид. — С Англией?

— Да при чем здесь Англия! У нее и в мыслях нет с нами воевать. С народом собственным война. Беззаконие и страх — вот что нас всех ждет, одних раньше, других позже, но всех. Ну и нищета, естественно, голод, деградация, это уже как следствие. Об одном я жалею, — сказал он, помолчав, — что в двадцать четвертом году, когда в Англию ездил, не остался там. А ведь мне и в Оксфорде предлагали преподавать, и Оля со мной была…

— Почему же не остался?

Это вырвалось у Леонида само собою, он не хотел спрашивать и из-за бестактности такого вопроса, и… И потому, что именно сейчас спрашивал себя, не лучше ли переменить свою жизнь, пока это еще возможно.

— Я тогда книгу начал писать, — ответил Морозов. — О циклах экономического развития. Выдержки из нее в Англии опубликовал, дискуссия вышла интереснейшая — в Европе, в США, в Канаде. И мне казалось важным, чтобы мои идеи у нас осуществились. Был уверен, что это возможно, именно у нас возможно, мы же не зашорены, новым путем идем. Да все мои об этом ведь мечтали! Это же моя страна, Леня, я же русак природный, как и ты. Отец в Сергиевом Посаде учителем был, революционеров от охранки прятал, мама, когда в Швейцарии на врача училась, газету «Искра» в корсете сюда привозила… — Он замолчал, словно захлебнулся, потом вздохнул: — А в Англии все как-то одно к одному тогда сложилось. Белое к черному. Я из Госплана получил письмо с предложением должности,

Оля родила в Лондоне раньше срока, ребенок умер… А в ее возрасте надежда была последняя, она и впала в уныние, и рвалась домой. Все одно к одному, — повторил он. — Мне казалось, новая экономическая политика, жизнь вошла в нормальную колею. Никогда не прощу себе той наивности, благодушия своего идиотского!

Прав ли он, Леонид не мог сказать с уверенностью. Но с каждым словом Морозова он все больше погружался в черную тоску, которая краем задела его после сегодняшнего собрания, а потом развеялась, как только он поднялся на крыльцо своего дома.

Кажется, Морозов догадался, что чувствует его собеседник.

— Пойдем, Леня, — сказал он. — Извини, что мрак на тебя нагнал. Пойдем с Эндрю беседовать. Вот кто производит оптимизм всем своим существом. Как солнце свет, а твоя жена искусство.

Когда Леонид с Морозовым вернулись с веранды в комнату, Ольга и Донка обучали Эндрю игре

в фанты. При этом все трое смеялись одинаково весело, но, поймав Ольгин взгляд, Леонид увидел в нем ту же тревогу, которую прежде расслышал в ее голосе.

— Нам пора, — сказал он по-английски. — Хозяева устали, Эндрю тем более.

— Я совсем не устал, — возразил Эндрю. — В Америке сейчас еще утро. Ведь вы в Москве живете, можно считать, в нашем будущем! А я здесь недавно, еще не перешел на ваше время, — пояснил он. И, обращаясь к Донке, спросил: — Вы придете смотреть, как мы играем в бейсбол?

— Да, — кивнула она. — Я с удовольствием приду.

Ольга перевела для Эндрю ее слова, а Леонид снова почувствовал удивленный укол ревности: как она, не зная английского, поняла, о чем тот спрашивает?

Глава 9

Выйдя на улицу, Леонид и Донка медленно пошли по заснеженным деревянным мосткам к своему дому — под звездными искрами, под сияющим месяцем.

— Ты помрачнел, Леня, — сказала она. — У тебя что-то случилось? Или Виктор Петрович что-нибудь плохое тебе сказал?

— Ничего у меня не случилось. — Леонид постарался, чтобы темные интонации не звучали в его голосе, но тут же рассердился на себя за такое старание и подтвердил: — Действительно, Морозов в тоску вогнал.

— Чем же?

— Да чем… Все плохо, а будет еще хуже.

— Это не так?

— Какая разница! — сердито хмыкнул он. — Объективно, может быть, так. Но мне-то что прикажешь делать? Невозможно жить с такими мыслями, пойми. Это не только лишает всякого побуждения к труду, но и просто больным делает.

Леонид остановился. Донкины глаза были теперь прямо перед ним, и он физически чувствовал, как что-то переливается из них в его глаза, в него всего.

«Как я мог ревновать, злиться на нее? — подумал он с раскаянием. — Что моя жизнь без нее?»

— Что я должен делать? — повторил он. — Я построил дом, и не только свой, и дальше намереваюсь строить, я воспитываю сына, и что там еще на сей счет советуют… Мне есть что терять, я не могу все бросить. Да с какой стати я должен все бросать, в конце концов!

— Ты не должен, Леня. — Она коснулась его виска холодными от мороза пальцами, провела по лбу ласковым легким движением. — Но если дело доходит уже до болезни, то не надо себя гипнотизировать. Ты решительный человек, бесстрашный, и в тебе нет той наивности, что в Эндрю этом милом. — Донка улыбнулась при имени Эндрю, но улыбка ее тут же исчезла. — Сделай так, как натура твоя тебе подсказывает, и будешь прав, — твердо сказала она.

— Натура моя подсказывает, что я не перекати-поле. — Леонид сам не понимал, почему его так рассердили ее слова. — И пойдем уже наконец домой. Не только ты репетировала, я тоже весь день не гулял.

К дому подошли в молчании — Донка, возможно, в молчании обиженном. Но Леонид был так сердит на себя, на свое же собственное раздражение, что не пытался смягчить ее обиду. Он толкнул калитку и, пока Донка закрывала ее на щеколду, прошел к дому, зажег свет над крыльцом и вставил ключ в замок.

— Ну где ты? — произнес он, не слыша ее шагов у себя за спиной, и обернулся.

Калитка была распахнута настежь. Это почему-то так поразило его, что он похолодел.

«Ушла? — чувствуя, как пот выступает на лбу — зимой-то! — подумал он. — Что я наделал?!»

Чувство, что он совершил непоправимое, было таким острым, что не оставляло возможности осознать его абсурдность. Что значит ушла, почему вдруг, куда?..

В следующее мгновенье, конечно, к Леониду вернулась бы способность мыслить логически, но именно в следующее мгновенье он и увидел, что его жена стоит на улице поодаль от распахнутой калитки. Перед ней, чуть наискосок, так, что Леонид мог его видеть, стоял высокий мужчина. Они что-то говорили друг другу, но Леонид был так ошеломлен, что не мог разобрать ни слова. Ему показалось было, что это Эндрю догнал Донку, но тут же он понял, что мужчина другой, ему не знакомый. Ни разу не видел он такого гармоничного силуэта, такого совершенного в своей мужественности облика, такой силы в каждом движении. Месяц и фонарь над крыльцом высвечивали все это с убедительной ясностью.

Движение, собственно, Леонид увидел только одно: мужчина положил руку Донке на плечо — не грубо, не нагло, а властно. Он был уверен в своем праве на нее, потому что владел жизнью, вот о чем говорил его жест, и мало того, он умел внушать это другим. Леонид понял по себе — он смотрел на происходящее как загипнотизированный.

Однако тут же стало ясно, что на Донку этот гипноз не действует. Она повела плечом, сбросив руку мужчины, ответила что-то негромко, но резко, и, войдя в калитку, захлопнула ее за собою со звуком, напоминающим выстрел.

Поднявшись на крыльцо, она быстро дыша проговорила:

— Пойдем.

И прежде, чем Леонид успел что-либо сказать, повернула ключ в замке входной двери.

Когда она взбегала на крыльцо, Леонид перевел взгляд на нее, а когда, прежде чем войти в дом, снова посмотрел на калитку, то никого уже не увидел. Месяц и фонарь светили по-прежнему, невозможно было бы не заметить человека в таком ярком свете, да и ни в каком свете, и даже в темноте невозможно было бы не заметить именно этого человека, в каждом движении которого было так много силы и жизни.

«Этого не было. Мне привиделось, потому что… Нет-нет, не могло этого быть!»

Бессмысленные слова принесли такое облегчение, что Леонид даже не подумал прогнать их из головы. Он вошел вслед за женой в темную прихожую и запер за собой входную дверь.

На второй этаж, где были спальня и детская, поднимались так стремительно, словно за ними кто-то гнался. От Морозовых вышли в половине первого ночи, значит, Марфа уже высаживала сонного Васю на горшок, теперь, Леонид знал, ребенок будет крепко спать до утра. Но из-за приоткрытой двери детской раздался всхлип — может быть, Вася услышал скрип ступенек, — и они замерли на лестнице, ожидая, что мальчик заплачет. Однако Вася не проснулся — из детской снова донеслось ровное дыхание, — и они вошли к себе.

Леонид обнял жену, как только дверь спальни отделила их наконец от всего и вся. Желание взрывалось у него в голове, изнутри давило на глазные яблоки, разливалось по всему телу, заставляя руки дрожать, пока он расстегивал на ней пальто; оказывается, они не задержались в прихожей даже для того, чтобы снять верхнюю одежду, и свое пальто он

тоже снял только теперь, бросив на стул. Он не мог произнести ни слова, потому что у него свело губы, как на морозе. Он стал целовать Донкины плечи, с которых соскользнула блузка, будто пытался согреть губы о ее тело и не мог.

Донка тоже молчала. Леонид не знал, что она чувствует. Он никогда этого не знал. Она высвободилась из его рук и села на край кровати. Он стоял перед нею, чувствовал ее пальцы, когда она, то и дело касаясь его груди, живота, расстегивала на нем рубашку, ремень на его брюках. Когда его живота коснулись не пальцы ее, а губы, он вскрикнул беззвучно, но не потому беззвучно, что думал сдержать вскрик — он не мог сейчас ни о чем думать, — а потому что у него стеснилось дыхание. Губы ее были холодны, хотя в спальне было тепло, даже жарко, то есть, наверное, это ему жарко…

Леонид отстранился от Донкиных губ, иначе лава, наполнявшая его, выплеснулась бы наружу сразу. Он коротко надавил ладонью на ее плечо отталкивающим движением, она поняла его и легла на кровать поверх одеяла. Когда он лег рядом с нею,

она не повернулась к нему и не обняла его, а осталась неподвижна, но как только он привлек ее к себе, подчинилась. В ней никогда не чувствовалось ни страсти, ни нетерпения, и когда она отдалась ему впервые, и долгое время после этого Леониду казалось, что Донка лишь смиряется перед его желанием, лишь подчиняется ему. Только позже он понял, что это не подчинение. А что это? И теперь он этого не знал, но теперь это не имело значения — близость с ней доставляла ему такое острое наслаждение, какого не доставляло больше ничто и какого он, зная до женитьбы других женщин, вообще не ожидал от физической близости.

Он целовал ее виски, щеки, плечи, его губы гуляли по ним, ожидая, когда же они ответят на прикосновения теми искрами, которые он сразу почувствует, — и дождались наконец. Он вскрикнул в ту секунду, когда Донкино стройное прохладное тело выгнулось, затрепетало под его губами, и сразу же сделалось горячим, подожгло и его.

Как только Леонид обнял ее, она тоже обхватила, обвила его ногами, руками, торопя, да он и сам

торопился, потому что пожар не длится долго, а он хотел сгореть вместе с ней, в ней, в ее огне, которого ожидал с таким нетерпением и счастьем. Да, пока они вздрагивали, обнявшись, не только тело у них был общее, но и счастье.

Леонид застонал в последний раз и замер, еще несколько раз вздрогнул и наконец почувствовал, что из него ушло все, что, не имея названия и объяснения, тяготило его, было мучительным, — и теперь пустота, образовавшаяся у него внутри, дает возможность будущего. Именно так: обычная опустошенность, физическая, которую испытывает в определенные моменты каждый мужина и сам он испытывал много раз, теперь, с Донкой, давала ему ощущение будущего, притом совсем не физическим было это ощущение. Леонид не мог объяснить его, да и не хотел, собственно, объяснять — он просто ценил эти мгновения и был благодарен за них жене, потому что успел уже понять, что такое вот странное рождение будущего из обычного физиологического акта возможно для него только с нею.

Он в первый же раз это узнал — когда наутро после той ночи, которую Донка провела одна в его доме, пришел проведать ее. Он был готов к тому, что не найдет ее здесь, эта мысль так мучила его, что он всю дорогу от морозовского дома, в котором переночевал, уговаривал себя, что в этом не будет ничего страшного, он просто должен убедиться в том, что она ушла, в конце концов дверь запереть, а если она все еще в доме, то он спросит, как она себя чувствует, не простыла ли, и отдаст ей порошок от болей в горле, который нашел в аптечке у Морозовых, вдруг у нее болит горло, ведь она вчера ходила под холодным ветром в мокрой одежде… Леонид постучал, дверь распахнулась сразу, как будто его ночная гостья ждала на пороге, и в ту же секунду он понял, что она не гостья ему, а хозяйка его сердца, тела, всего его — и, вглядевшись в ее глаза, обнял ее, не думая уже, что нельзя этого делать, что Донка может воспринять его порыв как указание на то, что она обязана ему за эту ночь… Ни о чем он не думал

в то утро, когда увидел перед собою ее светлые черные глаза и понял, что жизнь его без нее не имеет смысла.

И вот теперь она уснула рядом с ним, и он уснул рядом с нею.

Леонид проснулся в темноте от непонятного, но сильного страха. То ли сон какой-нибудь, мгновенно забытый, был тому причиной, то ли присущая предрассветному времени тревога. Несколько минут он лежал не двигаясь, стараясь унять быстрое сердцебиение.

За эти несколько минут он понял, что Донка тоже не спит.

— Кто этот человек? — спросил он, не открывая глаз.

Она молчала, но он знал, что она слышала его вопрос. Поняла ли? Он бы не понял.

— Отец, — ответила Донка. — Мой отец.

— Как? — Леонид мгновенно сел на кровати, взглянул в ее мерцающие в темноте глаза. — Как он тебя нашел?!

— Цыгане легко находят, — с какой-то странной безучастностью ответила она. — Он уже несколько раз приходил.

— Зачем?

— Хочет, чтобы я вернулась в табор.

— Что-о?! — От возмущения Леонид вдохнул так глубоко, что закашлялся. — Что значит… Какого лешего в табор?!

Все, что было три года назад здесь, в этой спальне, на этой кровати, тогда только привезенной — следы от плети на ее плечах, увиденные им в беспощадном утреннем свете во время первых ласк, синяк на ее скуле, его ярость на то, что кто-то мог ее ударить, — взметнулось в его памяти.

— Как он посмел сюда явиться? — Леонид слышал, как та же ярость клокочет сейчас у него в горле. — Что он тебе говорит? Ты должна мне сказать! — потребовал он.

— Говорит, что сейчас не время к месту прирастать, — с той же странной безучастностью ответила она.

— Почему? — опешил Леонид.

Меньше всего его интересовало мнение этого, с позволения сказать, отца по какому бы то ни было вопросу, но очень уж неожиданно прозвучали Донкины слова.

— Говорит, убивать будут таких, как я. Не таких, как все, — пояснила она; очень, наверное, заметно было в его глазах изумление. — Не сейчас, так после. Всех под одну гребенку причешут, а кто не причешется, тех убьют, и не надо поэтому к месту прирастать, тогда не найдут, может.

Она проговорила все это с незнакомыми интонациями, и он понял, что это интонации ее отца.

— Что за чушь? — пожал плечами Леонид. И усмехнулся: — Откуда, интересно, у твоего папаши такие сведения?

— Не знаю, — вздохнула она. — Может, нагадали ему.

Ни в Донкином голосе, ни в том, как она смотрела на него, не было таинственности, которую Леонид всегда чувствовал в ней. Она была сейчас только испугана и растеряна. Острая жалость захлестнула его.

— Глупости. — Он снова лег и, потянув за руку, уложил жену рядом, устроил ее голову у себя на сгибе локтя. — Даже если принять за аксиому, что будут уничтожать врагов, ты-то при чем, сама подумай? — Он поглаживал ее волосы, стараясь успокоить, и они искрились в полумраке. — Какой к тебе вообще может быть интерес? Ты просто молодая женщина, играешь в самодеятельном театрике и растишь ребенка.

— Он сказал, когда родителей убьют, ребенку лучше в таборе расти, чем в детдоме.

В ее голосе послышался неодолимый ужас.

— Да прекрати ты эту чушь повторять! — воскликнул Леонид. И добавил уже почти весело: — Забудь, милая. Я тебя не дам убить.

Чушь в самом деле была такая феерическая, что у него от сердца отлегло. Кажется, Донка это почувствовала.

— Тебя не спросят, — снизу заглядывая ему в глаза, улыбнулась она.

— Всё, всё. — Он похлопал ее по щеке. — О тебе и Васе уж позволь мне позаботиться. Спи, неоценимая.

Она шмыгнула носом, как ребенок, потерлась щекой о его плечо и через минуту в самом деле уснула.

Леонид часто вспоминал значение ее имени — оно абсолютно соответствовало тому, чем она стала для него.

«Я не дам ее убить, — отчетливо, будто выбивая на камне, подумал он. — Да что убить!.. Волосу не дам с ее головы упасть, улыбке с губ исчезнуть. На все пойду, но не дам».

Он никогда не произнес бы такого вслух, но знал это сейчас так же ясно, как еще в юности знал, что не позволит ветру жизни сбить его с ног, во что бы то ни стало сделает то, к чему чувствует себя предназначенным. Теперь добавилось — защитить женщину, подаренную ему судьбой, и ребенка, которого она ему родила, и дом, который он для них построил, — и не было на свете ничего, на что он ради этого не решился бы.

Глава 10

Дом оказался очень даже непростой. Он был виртуозно составлен из нескольких разнородных элементов, и первые же Нэлины архивные изыскания подтвердили ее догадку о том, что Леонид Гербольд перестроил этот Дом рабочих из старинного купеческого особняка.

— Видишь, вот здесь, между первым и вторым этажами кирпичная полоса? — Она показала на фотографии, которую перед тем вынула из сумки и положила на стол. — Фасад строгий и белый, а полоса фигурная и красная, для конструктивизма совершенно не характерная. По сути, этот дом — палимпсест.

— А-а!.. — протянул Антон.

Поняв, что он не знает, что такое палимпсест, Нэла стала рассказывать о монастырских пергаментах, на которых поверх старых текстов писались новые. Наверное, ей куда больше, чем ему, было интересно, как получился у архитектора Гербольда

этот каменный палимпсест, но чей интерес сильнее, не имело в данном случае значения, потому что видеть этот дом во всей его красе они оба хотели одинаково, даже если и из разных соображений. У Антона это были соображения престижа, денег, будущих заказов и, возможно, в самом деле удовольствия для Нэлы, а у нее интерес ко всему непростому, не вчера возникшему, на этот раз соединялся с сознанием личной связи с человеком, который этот дом создал.

Сознание это, неожиданно возникшее, Нэлу вообще-то удивило. Она никогда не интересовалась семейными преданьями, родилась уже после смерти прадеда и никакого специального родственного интереса к нему не испытывала. Да и дом этот был ведь не единственным его проектом.

— Он меня привлекает и почему-то тревожит, — с удивлением сказала она. — Я, знаешь, даже семейные альбомы ради этого дома пересмотрела.

— И что выяснила? — поинтересовался Антон.

Впрочем, меню он интересовался, кажется, больше, потому что разговор происходил в кафе «Кукареку» на Садовой-Кудринской, куда он притащил Нэлу завтракать. Был, правда, уже вечер, они возвращались с Плющихи, со строительной площадки, но завтраки в этом кафе подавались круглосуточно, и понятно было, что Антон не мог пройти мимо такого объекта общепита.

— Ничего особенного, — пожала плечами она. — Что бы я могла по фотографиям выяснить? Ну, мужчина был, что называется, интересный.

— Интересный — это какой?

Антон отвлекся от меню и посмотрел на Нэлу.

— Высокий, широкоплечий. — Она сдержала улыбку, встретив его насторожившийся взгляд. — Видный.

— Я таким критериям точно не соответствую, — хмыкнул он.

— У меня другие критерии, — наконец улыбнулась Нэла.

— Например?

— Например, ум в глазах. Обаяние.

— Это вообще непонятно как оценивать. Что такое обаяние?

«То, чего в тебе море», — могла бы ответить она, но воздержалась.

Ей нравилась близость, установившаяся между ними с тех пор, как началась работа над проектом гербольдовского дома, нравилось сознавать, что она ему дорога, и не хотелось обсуждать это вслух; из суеверия, может.

— Женщины вокруг него, думаю, вились роем, — сказала Нэла. — Тем более, он из тех мужчин, у которых внешность с возрастом делается значительнее. Даже непонятно, как жена его при себе удержала. Однако жили они долго и, можно предположить, счастливо, умерли если не совсем в один день, то примерно. Но для архитектурных исследований это значения не имеет, а больше я о нем ничего существенного не знаю. Папа сейчас целыми днями занят — потом что-нибудь расскажет, может быть.

— Ну и ладно, — сказал Антон. — Короче, я буду австралийский завтрак. Который с зеленой картошкой. Джем из черного перца это что такое, как думаешь?

— Никак не думаю, — вздохнула Нэла. — Другой с таким отношением к еде уже в дверь не проходил бы. А тебе просто повезло, что природный метаболизм хороший.

— Японский завтрак возьми, — посоветовал он. — В нем яйцо томаго — интересно, оно какое.

По дороге домой, когда уже поворачивали на Ленинградку, Нэла вспомнила, что должна до завтрашнего утра отправить материал о гербольдовском доме на австрийский сайт, с которым недавно начала сотрудничать, и ойкнула так, что Антон чуть руль не выпустил. До самого Сокола она переживала, что еще даже не принималась за текст, но как только въехали в поселок, эти переживания показались ей совершенной ерундой. Может быть, в этом была логика — трудно ли написать три страницы, когда целая ночь впереди? — а может, один только

вид соколянских заиндевелых садов и снежных шапок на крышах приводил ее разум в здравое состояние, от чего ерунда сразу же начинала ерундой и казаться.

Когда въехали во двор и Антон вышел из машины, чтобы закрыть ворота, позвонила Таня.

— У вас книжка «Образы Италии» должна быть, — сказала она. — Автор Павел Муратов. Посмотри, а?

— Я и без смотренья знаю, — подтвердила Нэла. — Есть такая книжка.

— Тогда я сейчас зайду. Альке на завтра по мировой художественной культуре доклад про Флоренцию, оказывается, задали. Он, паршивец, только сейчас вспомнил. Ничего уже, конечно, не подготовит, но пусть хоть книжку в школу принесет, типа старался, искал.

Таня пришла через пять минут. Антону как раз в этот момент кто-то позвонил — шло согласование проекта, и он беспрерывно что-нибудь обсуждал, с

кем-нибудь ругался, кого-нибудь улещивал по телефону и во всех мессенджерах одновременно. Приветственно махнув Тане, он поднялся разговаривать наверх, в отцовский кабинет. Это было кстати, потому что вид у Тани был мрачный, а во взгляде светилась такая тоскливая решимость, что Нэле стало не по себе. Понятно, с чем было связано Танино состояние, и совсем не хотелось обсуждать это при Антоне.

— Только трудно Альке читать будет, издание у папы дореволюционное, с ятями, — сказала Нэла, протягивая ей книгу Муратова.

— Иван его предупредил уже. — Взяв книгу, Таня пошла к двери. — Ничего, пускай разбирается.

Она никогда не называла Ваню полным именем, сейчас это прозвучало резко и как-то болезненно.

— Подожди, — сказала Нэла. — Подожди, Таня. Сядь.

Та вернулась от двери, села рядом с Венерой Милосской на стул, похожий на скелет диковинного синего животного, и посмотрела на Нэлу. Взгляд ее казался таким же больным, как голос.

— Тань, — тихо сказала Нэла, — плохо себя чувствуешь?

— Ты про токсикоз? — пожала плечами Таня. — Нет, ничего. Тошнит, но умеренно.

— Не про токсикоз. Ванька… по-прежнему?

Таня помолчала, потом нехотя сказала:

— А что могло измениться? Он же не из запальчивых. Раз сказал, значит, на том стоит и стоять будет.

Это Нэла и сама знала. Обдуманность действий, последовательность, упорство, терпение — долго можно было перечислять качества, которые отличали брата от нее. В лучшую сторону отличали, она всегда знала. И как же вдруг такое получилось — лучшее, что было в нем, сделалось причиной горя?..

Горе ломало Таню, этого невозможно было не понимать. Нэла не только никогда не видела сломленности в ее глазах, но не поверила бы, если бы кто-нибудь ей сказал, что это вообще возможно: такой жизнестойкости она не знала ни в ком. Правда,

не знала и никого, кто родился и провел первые восемнадцать лет своей жизни в таких условиях, в каких провела их Таня.

«Ну Ванька! — сердито подумала Нэла. — Что за упертость дурацкая?»

— Что же делать? — проговорила она.

— Кому? — усмехнулась Таня.

— Тебе, кому же.

— Ничего.

— То есть?

— Что есть. Срок мне ставят на апрель. Надеюсь, раньше времени не рожу.

Твердость, с которой Таня это произнесла, находилась в таком очевидном противоречии с больной растерянностью ее взгляда, что Нэла растерялась.

— Но надо же ему объяснить! — воскликнула она. — Его можно убедить, Таня!

— Нельзя его убедить. И объяснять незачем, сам не маленький. Решит — уйдет. Благо идти недалеко, — усмехнулась Таня.

Нэла молчала. Она не знала, что на это сказать. И дело было не в том, что стальная Танина воля не нуждалась в подпорках, а в том, что не Нэле было что-либо вообще говорить об этом…

— Нэлка, что с тобой? — В Танином голосе послышалась тревога. — Ты сама беременная, может?

— С чего ты взяла? — вздрогнула Нэла.

— Побледнела, как… Может, выпьешь? Коньяк сосуды расширяет.

— Не надо коньяк, — постаравшись, чтобы голос звучал бодро, и даже выдавив улыбку, отказалась Нэла. — Мне еще материал сегодня писать.

— Я пойду тогда. — Таня поднялась с синего стула и пошла к двери. Уже взявшись за дверную ручку, она остановилась и сказала: — Я не знаю, почему хочу от него родить, даже если он меня из-за этого бросит. Вроде мать мне прививку надежную поставила от того, чтобы так уж сильно рожать захотелось. А с ним видишь как — сама не ожидала. Так, видно, устроено, не нам менять.

И ушла, оставив Нэлу в оцепенении.

В этом же оцепенении она вошла в ванную, переоделась в халат, висящий на дверце, открыла воду — кран над раковиной был давно починен — умылась, поднялась на второй этаж, вошла в спальню, села на край кровати…

Антон все еще разговаривал по телефону в кабинете.

— … что значит завтра? — слышалось за стеной. — … кем решено… и что я должен…

Разговор прервался, в кабинете что-то грохнуло. Нэла подумала бы, что это он грохнул кулаком по столу, если бы имели для нее сейчас значение его производственные проблемы.

Некоторое время стояла тишина, потом дверь в спальню открылась, и Антон появился на пороге. Он выглядел то ли сердитым, то ли подавленным.

«Может, правда коньяка махнуть? — подумала Нэла. — Все лучше, чем дурацкие мысли».

— Что случилось? — спросила она.

— Ничего, — буркнул он. — Утром в Питер уезжаю.

— Зачем? — удивилась Нэла.

Два последних месяца он был так занят проектом, что минуты не мог найти ни на что, с ним не связанное.

— На кораблике покататься! — сердито бросил Антон.

— Кораблики по льду не ходят, — напомнила Нэла.

— На переговоры, зачем еще, — вздохнул он. — Ничего другого и ожидать было не нужно.

Последняя фраза прозвучала непонятно, но Антон часто не успевал догонять свои мысли словами, поэтому Нэла не удивилась. А то, что он выглядел злым и каким-то ошеломленным, отвлекло ее от ненужных собственных мыслей.

— Я тоже бы поехала, — сказала она. — Правда, Тоник! С лета здесь, а до сих пор в Питер не съездила.

— Вот летом и надо было ехать. — Он взъерошил волосы надо лбом. — А сейчас что там делать, мерзлой водой дышать?

— Может, там мороза и нету.

— Ну так дождь есть. Или ветер. Будто не знаешь.

Питерскую погоду Нэла, конечно, знала. Но и любила ее вместе со всем, что был этот город. Когда она жила в Венеции с Пьетро, то вспоминала Петербург постоянно, и даже пошлость определения «северная Венеция» ее не коробила.

— Ты летишь или едешь?

— Еду. Первым «Сапсаном».

— Думаешь, второго билета не возьмем? — спросила Нжла подлизывающимся тоном.

— Возьмем.

Он явно думал не о билетах и даже не о ней, как всегда, когда бывал чем-то занят. Она к этому не то что привыкла — слишком долго они жили врозь, чтобы употреблять такие определения, — но считала это естественным.

— Возьми меня с собой, — сказала Нэла. — В Русском музее выставка Бориса Григорьева, я схожу.

Антон тряхнул головой, будто вынырнув из своих мыслей, и посмотрел на нее каким-то странным взглядом.

— Может, так и лучше будет, — сказал он. — Поехали вместе.

К чему относилось его «лучше»? Хотелось верить, что к возможности ехать с ней в поезде, вместе смотреть на пролетающие в окне поля пустые и леса, недавно столь густые, а потом идти вдоль Невы гранитным берегом, милым для нее уж точно.

Для нее это так, для него неизвестно, так ли, но в этой вечной неизвестности и состоит прелесть жизни, наверное.

Глава 11

Нэла с удовольствием прошлась бы от Московского вокзала пешком — гостиница находилась на набережной Мойки, и глупо было отказываться от утренней прогулки по Невскому, пусть и в морозном тумане, — но Антон сказал, что опаздывает на переговоры, и пришлось взять такси.

— Так это же Дом искусств! — воскликнула Нэла, когда подъехали ко входу. — Сумасшедший корабль! Я и не знала, что здесь гостиница теперь.

Антон на ее слова не отреагировал: он всю дорогу от Москвы был погружен в свои мысли, похоже, мрачные, и строчил сообщения в телефоне. Но что же — такие вещи имеют значение только когда ты понимаешь, что такое Дом искусств, петроградский Сумасшедший корабль. А если для тебя это звук пустой, то видишь обыкновенную гостиницу со львами у входа.

Львы были новодельные, а когда вошли в холл, то Нэла и вовсе поежилась: такой безвкусицы она не видела давно, если вообще когда-нибудь видела.

Может, во дворце купца Елисеева, занимавшем целый квартал от Мойки до Большой Морской, и был камин, но точно не этот; Нэла однажды специально приезжала в Петербург, чтобы написать о питерских каминах, и знала, как они на самом деле выглядят. Рядом с этим поддельным камином возвышались два новехоньких атланта, скопированных с зимнедворецких и нелепо выглядящих в холле.

— С ума ты сошел, — сказала Нэла, когда Антон вернулся от стойки с ключами. — Мало того что стоит же все это черт знает сколько, так еще и смотреть невозможно. Здесь в каждом доме семейные гостиницы, дешево и уютно. Как можно было это заказать?

— Не я заказывал, — буркнул он. — Все оплачено, сходи позавтракай.

— А ты?

— Переговоры, сказал же.

Видимо, переговоры были где-нибудь здесь и назначены. В огромный, пронизывающий гостиницу от первого до последнего этажа центральный зал

Антон вошел из холла вместе с Нэлой, потом отдал ей сумку, свернул куда-то и исчез.

Исчезнуть здесь было где, конечно — размеры поражали воображение. Прозрачный лифт находился посередине зала, и, поднимаясь на третий этаж, Нэла оглядывала пространство на триста шестьдесят градусов. Оно показалось ей больше, чем пространство Кельнского собора, и хотя этого, конечно, не могло быть, но ощущение было создано умело. Вообще же, если что и напоминало Дом искусств, где в голоде, холоде и творчестве жили после революции поэты и художники, то лишь ощущение все пронизывающего сумасшествия. Только теперь это было сумасшествие не обваливающегося мира, а показной, не знающей удержу роскоши.

— Зачем вы это сделали? — невольно вырвалось у Нэлы.

Вопрос был, конечно, не по адресу — понятно, что симпатичная девушка-служащая, сопровождающая ее в лифте, не имеет отношения к оформлению интерьеров.

Девушка — на бейдже было написано, что она Екатерина, — поняла странный Нэлин вопрос.

— Если бы не реконструкция, этот дом просто разрушился бы. — Она улыбнулась мило и искренне. — Кинотеатр «Баррикада», который здесь был в советское время, закрылся в девяностые годы, и даже крыша уже проваливалась. А в «Баррикаде» молодой Шостакович был тапером, знаете?

— Знаю, — вздохнула Нэла.

И про молодого Шостаковича она знала, и про то, что жили в выселенном дворце Елисеева, спасаясь от гибели, Мандельштам, и Грин, и Зощенко, и Добужинский, и Петров-Водкин, и кто только ни жил… Она потрясла закружившейся головой.

— А еще раньше здесь гостил Грибоедов, — добавила умненькая Екатерина, хотя Нэла не перечисляла никаких фамилий, да и вообще не произнесла ни слова. — Когда привез в Петербург мирный договор с Персией.

Наверное, и слов не требовалось — вид у Нэлы был такой, что ее хотелось утешить.

— Если найдете время, — сказала Екатерина, — я вам все здесь покажу.

— Вам-то это зачем?

Нэла не могла сдержать улыбку, глядя на эту трогательную отличницу.

— У нас всего восемьдесят девять номеров, — объяснила та. — Мы работаем с каждым гостем индивидуально.

— В таком дворце — всего восемьдесят девять? — удивилась Нэла.

Можно было только догадываться, сколько стоит здесь переночевать.

— Ну да. Это клубный отель дворцового типа.

«Господи, — подумала Нэла, — во что Антон вляпался? С кем он здесь переговаривается?».

Коридор, по которому шли к номеру, был увешан такими картинами, что она старалась на них не смотреть. Спелые фрукты, яркие цветы, розовощекие женщины, глянцевые пейзажи, массивные золотые рамы… Наверное, тем, кто это здесь развесил, казалось, что похоже на Брюллова и выглядит аристократично. А скорее всего, так казалось тем, для

кого все это было устроено. Нэла знала, что такие люди существуют, но для нее они существовали в параллельной вселенной.

— Я могу подождать, пока вы устроитесь, — сказала Екатерина, — и показать вам наш отель по дороге в ресторан.

Зачем это нужно, бог весть, но раз входит в ее обязанности, то отказаться неудобно, решила Нэла.

Номер соответствовал всему остальному — огромный, с мебелью под старину, с теми же глянцевыми картинами на стенах и с тяжелыми, из дорогой ткани шторами на окнах. Нэла раздвинула шторы — окна выходили на заледенелую Мойку. Пушкин был совсем рядом.

Екатерина ждала у лифта.

— Череда исторических парадных залов поражает воображение, — сказала она хотя и заученным, но воодушевленным тоном. — Сначала мы увидим бальный зал «Баккара».

Нео-барокко этого бального зала и нео-рококо «Золотой гостиной» не относились к числу стилей,

которые Нэле нравились, но нельзя было не признать, что отреставрированная часть дворца отличается от новодельной. Зеркала во всю стену, огромные, в два света окна, плафоны с амурами были восстановлены с такой профессиональной тщательностью, что идти по этим залам было приятно.

— А здесь музыкальная гостиная, — объявила Екатерина. — Видите, на потолке лепные гирлянды в виде музыкальных инструментов. Знаете, как называется этот стиль?

— Знаю, — улыбнулась Нэла. — Эклектика.

— Да! — обрадовалась ее сопровождающая. — А теперь мы увидим знаменитый, чудом уцелевший в перипетиях двадцатого века и наконец отреставрированный мебельный гарнитур. Елисеев заказывал его для своей библиотеки у парижского мебельщика Дюма, одного из лучших в мире.

По тому, как светилось ее личико, было понятно, что ей доставляет удовольствие рассказывать не в пустоту, но Нэле надоел этот ликбез, и, поблагодарив, она отговорилась тем, что спешит на завтрак, а

библиотеку Елисеева посмотрит потом самостоятельно.

— А про Сумасшедший корабль вы не рассказываете? — на всякий случай спросила она перед тем как уйти. — После революции здесь Дом искусств был, поэты жили, художники.

Пяст, когда у него порвались ботинки, скомкал газету и вложил в дырку, и пусть видят, говорил, что так нельзя обращаться с поэтами, а Шкловский, чтобы хоть немного обогреть огромную роскошную комнату, жег в трехведерной банке старую бумагу, потому что другого топлива не было… Нэла представила все это так ясно, что едва ли не голоса их услышала в пустых залах.

— К сожалению, не рассказываем. — Екатерина изобразила сожаление с той же искренностью, с какой изображала воодушевление. — У нас нет никаких материальных свидетельств того периода.

Удивляться этому, может, и не приходилось — что могло остаться от тех лет, когда вязанка дров

была роскошью и исчезала мгновенно? И кусок колотого сахару, который подарила Мандельштаму юная поэтесса, прочитавшая его книгу, растворился в морковном чае бесследно… Но думать о том, что память о нематериальном и лучшем отброшена за ненадобностью, было не слишком радостно.

Нэла пила кофе, сидя перед панорамным окном ресторана на последнем этаже, смотрела на зеленые питерские крыши, на покрытый инеем купол Казанского собора, на светлую иглу Адмиралтейства и думала о том, что все это описано тысячи раз, но не приобрело ни малейшего оттенка пошлости.

Как и дом, построенный на московской улице Гербольдом, — вдруг пришло ей в голову.

Подумав про этот дом, Нэла вспомнила и про странные переговоры, которые отвлекли Антона от его реконструкции. Хотя в чем странность, собственно? Можно предположить, на будущее он затевает что-нибудь рискованное, но ничего ведь с этим не поделаешь, риск притягивает его как магнит.

Холод в Петербурге, как всегда, чувствовался сильнее, чем в Москве — Антон был прав, дышать приходилось мерзлой водой, — но даже просто идти по этому городу было таким счастьем, что Нэла не обращала внимания на физиологические мелочи.

Она сходила в Русский музей на выставку Григорьева, посидела в «Бродячей собаке», разглядывая старые фотографии на стенах, и вернулась на Мойку уже в ранних зимних сумерках.

Антона в номере не было, телефон его весь день был выключен, ничего особенного в этом, наверное, усматривать не стоило, но Нэле с каждым часом все более становилось не по себе.

«Я должна к этому привыкнуть. Раз уж решила с ним жить, то… Я решила с ним жить? А разве непонятно? Я уже с ним живу, нас многое соединяет, хотя бы то, что он гербольдовский дом затеял восстанавливать, может, в самом деле ради меня, таких нитей будет все больше, наверное, и глупо при этом сердиться, что он уходит на весь день, ни слова мне не сказав, да, природа его такая, но в человеческой

природе вообще много раздражающего, чего я не хотела бы видеть… Ну так и не надо обращать на это внимание!».

Не только в человеческой природе, но и в повседневности, которая окружала Нэлу с тех пор как она вернулась в Москву, немало было такого, на что лучше не обращать внимания. Научилась же она этому по отношению ко внешнему миру, значит, и по отношению ко внутреннему научится…

— Спишь?

Дверь открывалась бесшумно, ковры поглощали звук шагов, поэтому она увидела Антона только когда он остановился в дверях спальни.

— Нет, — ответила Нэла, садясь на кровати; она не спала и даже не переодевалась, только сапоги сняла. — Куда ты пропал?

— Я тебя просил со мной ехать?

Грубость, с которой он это произнес, была такой неожиданной, что Нэла вздрогнула. И тут же поняла, что Антон пьян. Так пьян, что держится на ногах только потому, что прислонился плечом к косяку двери, но и то покачивается.

— Мог бы позвонить, — сказала она.

— Зачем?

Он говорил рублено, резко… Нет, не то! Все это не имело бы для нее значения, если бы происходило только от того, что он влил в себя больше спирта, чем мог выдержать, и не контролирует поэтому свою речь. Но она знала Антона как себя, да что там, лучше, чем себя. Юность, когда он был ей непонятен, давно прошла, и, встретившись с ним после прожитых по отдельности лет, она сразу же почувствовала именно это — что понимает его как себя и лучше, чем себя.

А то, что вдруг хлынуло сейчас из него, вообще не являлось психологической загадкой. И было ей слишком знакомо…

— Ляжешь спать? — сказала она, не отвечая на его «зачем».

— Выпью.

Он оторвался от правого косяка двери, его тут же швырнуло к левому, он чуть не упал, но удержался и, развернувшись, двинулся в гостиную. Там

включился свет, Нэла услышала, как Антон открывает мини-бар, и поскорее вышла вслед за ним: сидя в одиночестве, она просмотрела лежащие на столе буклеты и выяснила, что в минибаре имеется шампанское за полторы тысячи евро. Цены на водку и пиво она даже читать не стала, зато прочитала на дверце мини-бара, что если после извлечения из него бутылки он остается открытым дольше некоторого количества секунд, то бутылка считается выпитой.

Именно шампанское Антон, покачиваясь, и разглядывал, когда Нэла вошла в гостиную.

— Поразительный ты человек! — сердито сказала она и быстро выхватила бутылку у него из рук. — В грязь лицом не промахнешься.

— Ты чего?.. — пробормотал он, глядя, как Нэла водворяет бутылку обратно. — Выпьем.

— Пива выпей, — поморщилась она. — Тебе все равно ведь уже.

— С тобой выпьем. Шампанского.

— Что за праздник случился? — усмехнулась она.

Он снова открыл мини-бар, вынул из него бутылку «Эвиан», скрутил крышку и, вылив воду себе на голову, сказал:

— Случился. Не праздник.

Нэла давно не видела его пьяным, и ей, мягко говоря, не нравилось это видеть, но что-то встревожило ее больше, чем неудобство общения.

— А что случилось? — спросила она. — Горе?

Можно было надеяться, что у него сорвался какой-нибудь контракт — с него сталось бы счесть это горем.

— А х…

Он матюкнулся, сел на пол и посмотрел на Нэлу уже довольно осмысленным взглядом.

— А точнее можно? — поморщилась она.

— Можно. Никакого дома не будет.

— Какого дома? — спросила она машинально.

И, еще договаривая, поняла, какого.

— Ну да. — Антон тоже понял, что она поняла. — Этого… констр… констур…

От вылитой на голову воды он протрезвел не настолько, чтобы выговорить длинное слово, но это и не требовалось.

— Что значит не будет? — проговорила Нэла. — Почему?..

— То и значит. По кочану.

— Да прекрати же ты! — воскликнула она. — Еще воды на себя вылей и объясни, в чем дело.

— Не ори, — бросил он. — Чего тут объяснять? Заказчик передумал.

— Передумал заказать тебе реконструкцию?

— Не мне. Вообще передумал. Элитное жилье будет строить.

— Это кто же так решил? — медленно выговорила Нэла.

— А правильно рассуждаешь, — хмыкнул Антон. — Не он решил, да. Повыше люди.

— И… что?

— Ничего! Ни-че-го! Поняла или попроще объяснить?

Ярость клокотала у него в горле, глаза горели, и в ледяном этом синем пламени сгорало все, что привязывало его к ней, было ему дорого в ней, в их общей жизни. Нэла поняла это яснее, чем если бы он послал ее подальше всеми словами, грубостью которых владел.

— Хозяин-барин, — усмехнулся Антон. — Им этот конструктивизм вообще не сдался. Они и не понимают, что в нем хорошего. Ну, я, допустим, тоже не совсем понимаю, но я никто, а они — да, хозяева. Как захотят, так и сделают. Что, не нравится? А вот так оно на самом деле устроено. Без этих ваших… кружавчиков.

Он поднял руку и поводил ею у Нэлы перед носом. Она отстранилась. Антон хмыкнул. Взгляд, которым он на нее смотрел, был внимательным, злым, и уже не казался пьяным. Он не то чтобы хотел ее обидеть этими кружавчиками дурацкими — он словно разрешил себе что-то, выпустил на волю, и это хлынуло из его горла, как хлынула бы блевотина, если бы он был пьян по-настоящему.

— То есть, человеческим языком говоря, планы изменились, и твой барин приказал тебе строить элитное жилье, — холодно произнесла она. — Хорошо. А Дом рабочих кто будет реконструировать?

— Что ты дуру из себя корчишь? — Он поморщился. — Какой Дом рабочих? Нет никакого Дома рабочих, все, забудь. Сносят его. — Он сунул руку в карман, достал айфон и, посмотрев время на экране, уточнил: — Уже снесли, наверно.

— Как снесли? — Нэла почувствовала, что лицо у нее холодеет, и проговорила почти жалобно: — Ты что говоришь, Антон? Как его могли снести, если мы с тобой вчера его видели? Мы же вчера вечером со стройплощадки уехали! — воскликнула она. — Он был жив и здоров, уже леса стояли! Ты что?!

— Ну что ты кричишь? — Он поморщился. — Ломать не строить, одной ночи хватит. А леса как поставили, так и разобрали. Их вообще для того и поставили, чтоб такие, как ты, раньше времени вой не поднимали.

Его слова будто плетью ее хлестнули. «Такие, как ты…»

«Зачем я с ним? — медленно, словно проговаривая вслух, подумала она. — Чтобы рано или поздно это услышать? Слышать всю жизнь…»

— Притворяться не надо. — Он говорил сквозь зубы и сверлил ее взглядом так, что сыпались синие искры. — Он тебе что, родной, дом этот? Ты полгода назад вообще про него не думала! Скажешь, неправда?

— Правда.

— Ну так чего ж ты!.. Через полгода и забудешь.

Нэла молчала, но не от растерянности — растерянность будто заморозилась в ней.

— Про тебя я полгода назад тоже не думала, — наконец произнесла она. — И через полгода забуду. А ты привыкнешь. Раз так оно, по-твоему, устроено, то и к этому привыкнешь.

«Было это уже».

Общее с нею воспоминание всплыло в его глазах медленно, неотвратимо.

Не глядя на него больше, Нэла надела сапоги, сняла с вешалки пальто и вышла из номера.

Глава 12

«Это уже было. Я постаралась забыть. А не надо было забывать. Не надо было себя обманывать».

Она не ждала, что Антон ее догонит, станет что-то объяснять. И не потому не ждала, что объяснять было в общем-то нечего… Услышать сейчас его шаги, увидеть его лицо, протрезвевшие его глаза — зачем?

Нэла вспомнила, как он сказал «хозяин-барин» и «так оно на самом деле устроено», и вздрогнула от отвращения.

Как она старалась ничего не замечать! Как уговаривала себя, что все не так плохо, театры набиты битком, на улицах пллюминация как в Париже, и вечно что-нибудь празднуют, и вот восстанавливают гербольдовский дом… Какая глупость! В любую минуту тебе напомнят, что ты никто, что так оно и должно быть, чтобы ты был никем, и все, что ты сделал, во что вложил всего себя, разрушит та же сила, которая разорила и дворец на Мойке, и жизни

человеческие — никуда она не делась, наоборот, крепнет с каждым днем. Этой ночью она разрушила дом, в котором было что-то, чего не съешь и на себя не наденешь, и зачем делать вид, будто не понимаешь, что за сила такая, зачем, как страус, прятать голову в песок, хотя страус, кажется, голову не прячет, что-то такое она про страуса читала…

«Он всегда хотел быть в силе, — подумала Нэла. — И он не изменился по сути, я же сразу поняла, как только его увидела. Значит, не изменился и в этом, и все мне только мерещилось».

Она шла по Невскому к вокзалу, вглядываясь в дома, медальоны, барельефы, кариатиды, в клодтовских коней, показавшихся впереди над Фонтанкой.

«Чтобы зреньем напитать судьбы развязку…»

Совсем о другом это было сказано, конечно — о предчувствии гибели, а не о том, как сорокалетняя дура обманывала себя, а потом поняла, что делать этого было не нужно, а теперь думает, что она страдает. Кому дело до ее судьбы! До холода у нее в

груди, до бессмысленности ее существования… Никому и не больше, чем до разрушенного этой ночью гербольдовского дома.

«Дело не в том, что мы разные… Нет, в том. Мы в самом деле разные — он хочет быть хозяином жизни. Хозяином-барином. — Нэла усмехнулась, но не почувствовала, чтобы ее губы хотя бы дрогнули при этом. — Он на все ради этого пойдет. И с собой что угодно позволит сделать, и растоптать все, что ему дорого, да и что ему дорого?»

Нэла спустилась с Аничкова моста и остановилась у воды.

«Так было уже, — повторила она. — Зачем я пыталась это забыть?».

Комната, которую Антон снял в коммуналке на Рождественском бульваре, была, конечно, далека от роскоши и даже от простого уюта, а ванна, стоящая посередине общей кухни и огороженная с четырех сторон фанерой, и вовсе вызывала недоумение. Зато дом был такой московский, настоящий старый

московский доходный дом, что это примиряло с новой действительностью, в которую Нэла приехала потому, что жизнь в действительности прежней показалась ей без Антона бессмысленной, и потому, что была беременна.

Про беременность она узнала незадолго до своего отъезда из Бонна, и это внесло в ее намерения окончательную ясность. Она едет к мужу, потому что ждет от него ребенка, и какие еще аргументы нужны кому бы то ни было, а главное, ей самой? Этих вполне достаточно.

Антон ее приезду обрадовался, в этом не было ничего удивительного, он радовался ей всегда. Про беременность сказал:

— Может, двойню родишь?

— Ты хочешь двойню? — удивилась Нэла. — Почему?

— А ты б тогда больше и не заморачивалась, — объяснил он. — Особенно если девочка и мальчик.

Нэла рассмеялась такой его бесхитростности — впрочем, муж ее никогда не «заморачивался» тем,

что других мужчин пугало, — сообщила, что двойни нет, а есть, скорее всего, мальчик, точно определить еще нельзя, но ей так почему-то кажется, а пока до родов далеко, она поищет работу. Антон ответил, что работать ей не обязательно, но если хочет, то на здоровье, и Нэла устроилась на полставки в Музей изобразительных искусств с ощущением, что все сделала правильно и все поэтому будет теперь так, как она и сказала себе в наполняющейся утренним светом боннской квартире: «Я поеду в Москву, буду жить там с Антоном и буду счастлива».

Антон работал в представительстве липецкого холдинга — его устроил туда дядька Константин Иванович, — потом работу поменял, а когда Нэла спросила, на что поменял и почему, то ответил неопределенно. Уходил он из дому рано, возвращался поздно, что на прежней работе, что на новой, был охвачен азартом, получал много, то и дело тащил Нэлу в какой-нибудь из бесчисленных московских ресторанов — его любопытство к еде было неистребимо, — и выглядел таким довольным жизнью, каким она никогда его до сих пор не видела.

Почему это так, что его в новой этой жизни привлекает, объяснить он не мог, а может, и не хотел. Наверное, Нэла встревожилась бы этим, но не успела: у нее случился выкидыш. Это произошло так обыденно, так как-то само собою, что она не успела даже испугаться — стало плохо на улице, забрала «Скорая», отвезли в Первую градскую, сделать ничего не смогли, через три дня выписали. Родители были в отпуске, брат с женой водили по врачам маленького Вадьку, встревожившись его странным замкнутым состоянием, и незачем было беспокоить родственников тем, чего все равно уже не изменишь.

Антон уехал в командировку на Урал, сообщить ему о случившемся Нэла не могла, потому что не знала, как его найти. То есть нашла бы, наверное, если бы хотела, но — не хотела. Она представляла, как он станет ее успокаивать и не сможет скрыть того, что будет в его успокаивающих словах: равнодушия к произошедшему с нею.

Да, равнодушие, лишь слегка припорошенное любовью, было главное, что она почувствовала в

нем по отношению к себе с первого же дня в Москве. Лежа на койке в унылой больничной палате, Нэла не могла уже скрывать это от себя. Равнодушие к ней вдруг стало обратной стороной его лихости, его азарта к жизни, понимать это было тяжело, но не понимать — малодушно.

Антон вернулся на следующий день после того как Нэлу выписали из больницы, случившимся расстроился, но не слишком, а вернее, как-то не принял это во внимание. Настолько не принял, что стал целовать ее ночью, прерывисто дыша, и обнимать с обычной своей настойчивостью, и только когда Нэла заплакала, спохватился и стал успокаивать ее с той пронзительной нежностью, которую она так любила в нем. Но даже рядом с ним, спящим, когда голова ее лежала на сгибе его локтя, Нэла уснула только под утро, так сильна была ее тоска, так неизбывна.

Проснулась она утром поздно, Антон уже ушел на работу, и, может, это было к лучшему. Что она сказала бы ему — жалей меня, выполняй мои желания?

Желаний она в себе никаких не находила. Это было для нее непривычно, потому что всегда она бывала чем-нибудь увлечена, а значит, ей чего-нибудь хотелось, — но объяснимо, и должно было со временем пройти; природного здравого смысла у Нэлы было достаточно, чтобы это понимать. И даже лучше, что ей приходится выкарабкиваться из своей тоски в одиночестве, не делая мужа свидетелем неожиданных слез, приступов мрачности и тоски.

Она долго думала, что это лучше, пока однажды не осознала, что Антон приезжает вечерами все позже и пьяный или не приезжает совсем, что в Италию они весной не едут, хотя собирались, что она ничего не знает о том, чем он занят, а если спрашивает, то получает ответ, что рабочий день у него не нормированный, что ему уже не скрываясь звонят домой какие-то женщины, говорят, что по работе, но голоса у них при этом насмешливые… Что, включив в темноте ночник, она видит на его плечах такие откровенные, такие сизо-алые следы чужих поцелуев, что делать вид, будто она их не замечает, глупо и отвратительно.

— Что ты?..

Антон проследил за ее взглядом, скосил глаза на свое плечо. Протянул руку, взял с тумбочки сигареты, закурил. Он не курил раньше в постели, она не заметила, когда начал.

Дым повис в комнате, как молчание.

— Что я должен тебе сказать? — проговорил он наконец.

— Ничего. — Нэла чувствовала, что у нее немеют губы. — Ты ничего мне не должен.

Только произнеся вслух, она поняла, что это правда. Что их связывает, кроме эфемерных нитей, которые не знаешь как и назвать? Протягиваясь из коротенького общего прошлого, они истончались в настоящем все больше, и вот исчезают, обрываются теперь, прямо в эти минуты, когда она смотрит на сизые пятна на плечах своего мужа.

Когда им с Ванькой было по четырнадцать лет, мама узнала о папиной измене. Как родители ни скрывали это от детей, совсем скрыть не смогли — это был год отчуждения, отчаяния, физически ощутимого напряжения. И когда наконец, будто лопнула

натянутая струна, все это разрешилось, и медленно, осторожно, но все более определенно начали восстанавливаться прежние отношения, и стало понятно, что это происходит после прощения, Нэла поняла, как тяжела эта работа, именно работа, на которую нужно не только решиться — еще выполнить нужно суметь.

Но родителям было ради чего на эту работу решаться. Все, что интересует человека в жизни, и радует, и печалит, и возмущает, и воодушевляет, было у них общее. А что связывает ее с мужчиной, который смотрит на нее сейчас исподлобья потемневшими синими глазами? Несколько общих лет, которые теперь кажутся уже и не бывшими? Ребенок, который оказался несуществующим так скоро, что как будто и не существовал вовсе?

«Мне даже не хочется услышать, что он ответит, — холодно, будто не о себе, подумала Нэла. — И чего ради ждать, когда это произойдет в следующий раз, и в следующий, и еще? И разве только это?».

— Ну да, сказать нечего, — словно расслышав ее мысли, усмехнулся Антон. — Так оно на самом деле устроено. Я в команде, правила такие… Я жить хочу по-настоящему! — вдруг выговорил он с такой страстью, которая не относилась к Нэле даже отзвуком. — Не на тележке трюх-трюх, а…

Он осекся.

— А на лихом коне по степям. Битвы, сокровища, любовь, — в тон ему усмехнулась Нэла.

— Это, что ли? — Антон хлопнул себя ладонью по плечу, по сизому пятну. — Любовь здесь ни при чем. — Голос его дрогнул. — И вообще не в этом дело.

Он не лгал — женщина, которая так страстно зацеловала его плечи, вряд ли значила в его жизни слишком много, это Нэла понимала. Но что вообще имеет для него значение? Что для него настоящая жизнь, к которой он рвется так безоглядно?

Бесконечно можно было задавать себе подобные вопросы, но не было в этом толку, и еще меньше толку было в том, чтобы задавать такие вопросы ему.

Назавтра Нэла уехала в дом на Соколе, а через неделю вернулась в Бонн. Впрочем, понятия «вернуться» и «уехать» перепутались у нее в голове, и не в голове даже, а в жизни, но и это уже не имело значения. Перепуталось все, действительность превратилась в какую-то глицериновую субстанцию, Нэла не понимала, что ее жизнь теперь собою представляет, и живет ли она вообще.

Первое событие, которая она осознала именно как событие, как нечто имеющее смысл, были слова Марион:

— Я думаю, ты должна приехать ко мне в Берлин.

С Марион встретились в боннском квартирном бюро, куда Нэла пришла снимать квартиру, а Марион сдавать свою. Нэла не считала их студенческую дружбу особенно близкой, но вдруг оказалось, что Марион понимает, что с ней произошло, гораздо лучше, чем, может быть, понимает она сама.

— Ведь ты хотела учиться в Берлине, и теперь ты можешь это сделать, — повторила Марион. — Я

тоже пропустила несколько лет между бакалавриатом и магистратурой, но это нормально. Нам нужно было время, чтобы понять, чего мы хотим, и мы дали себе это время.

Она сказала об этом с такой невозмутимостью, как будто Нэла, как и она, провела это время в путешествии по Южной Америке. Но невозмутимость ее не показалась Нэле холодной, наоборот — окутала такой воздушной ясностью, в которой она впервые почувствовала, что может дышать, чего-то хотеть, к чему-то стремиться, а не плыть в вязкой жиже, в которой стремиться к чему-либо бессмысленно.

И дальше эти островки смысла стали появляться все чаще — когда Нэла подала документы на магистерскую программу в Берлине, когда получила подтверждение, когда они с Марион сняли квартиру в Моабите…

В эту квартиру Антон приехал через год. То есть не в квартиру приехал, а ждал Нэлу на лавочке под липой и окликнул ее, когда, возвращаясь домой поздно вечером после спектакля в Комише Опер, она вошла во внутренний двор с улицы.

Сердце у нее замерло, когда она его увидела, но тут же забилось снова, хоть и не ровно, но почти.

— Что улыбаешься? — спросила она, глядя в его глаза, поблескивающие в свете окон.

Да, она уже могла смотреть на него, разговаривать с ним. Все-таки прожитый отдельно от него год как-то… выправил ее. Да и его тоже, наверное. А впрочем, при чем здесь он — у него все по-другому. Интересно, откуда знает, что она в Берлине? У Вани спросил, может.

— Рад тебя видеть, вот что, — ответил он. — Как твои дела?

— Хорошо, — кивнула она. — В универе учусь.

— Ты же выучилась уже, — удивился Антон.

Все-таки он не изменился, это ей только показалось при первом на него взгляде. Да, черты лица утончились, жесты тоже, но стоило малейшему чувству — самому обыкновенному удивлению — охватить его, как все в нем сделалось прежним.

— В магистратуре теперь, — сказала она. — А ты зачем приехал, Антон?

Ей хотелось произнести вслух его имя и посмотреть, что будет. С ней что будет.

Ничего страшного не произошло. Она даже как-то спокойнее себя почувствовала, назвав его по имени.

— С тобой поговорить, — ответил он. — Посидим где-нибудь?

Нэла пожала плечами, и они вместе вышли из двора на улицу.

— Куда ты хочешь? — спросил Антон.

— Все равно, — ответила Нэла, но, сообразив, что сейчас он позовет ее ужинать, благо все кухни мира представлены в Моабите на каждом шагу и экзотическими блюдами благоухает огромный старый крытый рынок, поспешно добавила: — Пойдем к реке.

По берегам Шпрее шла обычная вечерняя берлинская жизнь; было в ее оживленности что-то подбадривающее.

Нэла спустилась по гранитным ступенькам к воде. Антон пошел за нею. Она присела на корточки,

окунула руки в воду, провела мокрыми ладонями по лицу. Это успокоило ее окончательно, и она спросила:

— Так о чем ты хотел поговорить?

— Может, вернешься? — спросил он.

— Не вернусь. О чем еще?

— Только об этом. Глупо вышло, Нэл, — помолчав, сказал Антон. — Я себе этого не прощу. А ты… Может, простишь?

Она молчала. Совсем забыть его не получилось, это так же ясно, как и то, что он не изменился. Может быть, только пока не получилось его забыть. Наверное, получится, скоро или не очень. Но как бы там ни было, начинать все заново не имеет смысла. Именно потому, что он не изменился. Он не может измениться. Даже если вокруг него начнет рушиться мир и обломки будут с воем пролетать в сантиметре от его головы, он точно так же взъерошит надо лбом вихор, проведя по нему пятерней, и все равно когда-нибудь явится домой с исцелованными плечами и

скажет, выгребая мятые деньги из карманов пиджака, что так оно устроено и что он хочет жить, а не прозябать.

— Зачем тебе мое прощение? — Нэла пожала плечами. — Да и не в изменах твоих дело.

— А в чем?

— Я тебе не нужна, — глядя в его глаза, сказала она. — Ты себе такую жизнь выбрал, что и не заметишь, есть я или нет.

Глаза по-прежнему были такие, что в них хотелось провалиться. Если бы жизнь на этом закончилась, то она так бы и сделала. Но не закончится на этом жизнь, только разрушится, и лежи потом, придавленная обломками, и неизвестно сколько это будет длиться.

— Слишком у нас с тобой отношения сложносочиненные, — поморщился Антон.

Слово в его лексиконе показалось таким же новым, как в гардеробе плащ; раньше ничего длиннее куртки не надевал — говорил, мешает.

— Не знаю, — пожала плечами Нэла. — По-моему, предельно простые у нас отношения. Тебе нужен развод? — спросила она.

— Как хочешь.

Может быть, хочет жениться. Может быть, нужно на ком-то жениться в той команде и по тем правилам, которые он над собой признал.

— Подай заявление сам, — сказала Нэла. — Я свое согласие заверю в консульстве и пришлю.

Он молчал. Огни Берлина плыли по реке, блестели ободряюще.

«Пусть поскорее уйдет», — подумала Нэла почти жалобно.

Все-таки мало еще времени прошло, чтобы она могла быть спокойной в его присутствии слишком долго, и вряд ли было на свете что-то такое, что могло бы ее в этом смысле ободрить.

Никогда он не был пустословен, и это тоже не изменилось в нем.

После того как стихли у нее за спиной его шаги, Нэла долго еще сидела, глядя на стремительные речные струи.

Не меньше года прошло, прежде чем она смогла приехать в Москву. Антон был в Москве человеком недавним и, может быть, вообще случайным, но странным образом она связывалась прежде всего с ним, и ничего Нэла не могла с этим поделать, и никак не могла обуздать сначала болезненный страх перед приездом, а потом интерес, острый и, может быть, тоже болезненный, как болезненным был, она знала, ее интерес к случайно выныривающим в Сети сведениям о его работе, поездках, делах.

Еще год прошел до тех пор, пока она не стала бывать в Москве спокойно, как в любом другом городе, но долго еще и после этого, выходя из аэроэкспресса на Белорусском вокзале, сразу думала о том, что может столкнуться с Антоном прямо сейчас, у входа в метро, и не знала, как поведет себя при этом. И только на Соколе уже, повернув на улицу Сурикова, забывала обо всех своих страхах.

Воздух над Фонтанкой, мерзлый и влажный, заколол Нэле щеки. Она поднялась обратно на Анич-

ков мост, оглянулась. Как будто можно было бы увидеть отсюда Дом искусств, Сумасшедший корабль, оставшийся позади в стройной перспективе Невского.

Сумасшедший корабль!.. Нэла вдруг вспомнила, что назвала так корабль настоящий, на котором встретилась с Антоном впервые. Как странно, что и расстались они на Сумасшедшем корабле тоже… Что ж, бывают странные сближения.

«На Плющиху пойти, когда в Москву приеду? — стараясь отвлечься от этой странности, думала она, идя к вокзалу. — Или лучше не смотреть на обломки — забыть гербольдовский дом?»

Глава 13

Берлин был слишком фундаментален, чтобы чувствовать себя в нем свободным.

Ощущения чрезмерной тяжеловесности не возникало, когда Гербольд изучал его по фотографиям и чертежам, но достаточно ему было погулять по городу в течение дня, чтобы оно стало совершенно определенным. Даже в лицах маскаронов — юных женщин, мальчиков, чертят — не было ни тени лукавства или насмешки, а была сугубая серьезность. В имперской фундаментальности немецкого классицизма, безусловно, чувствуется большой стиль, думал он, но вот петербургская, к примеру, имперскость умудряется быть воздушной и не давит совсем. Впрочем, какая теперь имперскость в Ленинграде, нет ее, и не надо.

Гербольд приехал в Берлин на день раньше, чем его ожидали в Министерстве строительства, и этот свободный день потратил на прогулку по городу. Он

вышел из отеля «Сплендид», в котором ему был забронирован номер, полюбовался его причудливым барочным фасадом и медленно пошел по Фридрихштрассе, впитывая чуждую красоту берлинских улиц жадно, напитывая свое зрение необычностью. Такая возможность, необходимая ему в профессиональном отношении, была краткой, неизвестно, когда она повторится и повторится ли вообще. Хотя с тех пор как архитектурное бюро пришлось закрыть и Гербольд начал работать в Наркомстрое, он мог рассчитывать на командировки: государственных служащих, в отличие от частных людей, за границу выпускали, особенно когда речь шла о совместных с иностранцами проектах, которые признавались значимыми для социалистического строительства.

Вот он и бродил сегодня весь день по Берлину, иногда останавливаясь надолго перед каким-нибудь домом, а то и касаясь ладонью красно-бурых клинкерных кирпичей, которыми были облицованы стены. Точно так он касался ладонью теплой штукатурки московских зданий в то лето, когда приехал из

Пскова, чтобы поступать во ВХУТЕМАС, и бродил по Москве счастливый, ошалевший, уже в нее влюбленный, уже знающий, что может сделать для нее что-то необыкновенное, и хочет это сделать, и сделает…

Когда к вечеру его начало подташнивать, Гербольд сообразил, что забыл пообедать. К еде он относился прагматически, поэтому не предвкушал, как пойдет в хороший ресторан где-нибудь напротив Музейного острова, станет изучать меню, прислушиваясь к своим гастрономическим желаниям… Оглядевшись, он понял, что до Музейного острова далековато, и, хотя стоит он на берегу Шпрее, респектабельных ресторанов поблизости не видно.

Однако впереди виднелось огромное здание — Гербольд узнал крытый рынок, который видел на множестве фотографий. Рядом с рынком, вероятно, можно найти трактир, и не один.

Первым ему попался на глаза не трактир, а биргартен. Конечно, он намеревался поесть, а не

напиться пива, но июньский вечер был так тих и тепел, липы шелестели так ласково, что уходить в помещение не хотелось. Он прошел за низенькую оградку биргартена и уселся с краю длинного дубового стола на как раз освободившееся место в ряд с другими посетителями. К нему тут же подошел кельнер.

— Один бокал любого пива, — сказал Гербольд. — И поесть. Что-нибудь простое, что здесь готовили всегда.

Он обрадовался, произнеся это, и не потому, что приятно было убедиться, что язык не забыт с гимназических времен, и говорить по-немецки на берлинской улице, но потому, что угадал свое желание: ему хотелось простого, что было всегда.

— Айнтопф, — широко улыбнувшись, предложил кельнер. — Настоящее народное блюдо.

Над столами висел густой пивной дух и гул множества голосов. Гербольд пожалел, что выбрал шумный биргартен, но деваться было уже некуда, и, ожидая своего пива и ужина, он стал оглядывать

людей, сидящих за его столом. Странное ощущение охватило его: показалось, что он видит одно и то же лицо, повторяющееся многократно, как деталь на конвейере. Впрочем, это, конечно, было связано с тем, что все мужчины похожи, когда сидят вечером в пивной.

— Могу я спросить? — услышал Гербольд.

Он провел взглядом по лицам и сразу понял, кто к нему обратился. У мужчины, сидящего прямо напротив него, читался в глазах интерес, живой и острый, это было особенно заметно в сравнении с однообразным довольством, которое, казалось, влито было во все глаза вокруг.

— Да, пожалуйста, — кивнул Гербольд.

— Я вижу, что вы иностранец, но кто, понять не могу.

— Русский, — ответил Гербольд. И уточнил: — Из СССР.

— О! — Интерес в глазах его визави стал еще живее. — Никогда не видел русских из СССР. И, признаться, думал, никогда уже не увижу.

— Почему?

— Они больше не приезжают в Германию. Или приезжают, но не частным образом. А я частное лицо, — объяснил он. И добавил после короткой заминки: — Теперь.

Появился кельнер с пивом, сразу вслед за ним другой — он поставил перед Гербольдом глиняный горшок. Стоило поднять крышку, как из горшка пахнуло горячей капустой, фасолью, картошкой и копченостями. Видны были также куски моркови, репы и еще каких-то овощей, все это образовывало густую похлебку, почти жаркое.

— Однако! — сказал Гербольд. — Если бы я знал, что это, не заказывал бы.

— Почему? — спросил его собеседник.

— Серьезное блюдо. Одному с таким и не справиться. В самом деле народное.

— Даже слишком, — усмехнулся тот. — Скоро айнтопфом будут кормить всех в обязательном порядке. Ради единства немецкого духа.

— Это плохо? — зачерпывая ложкой похлебку, поинтересовался Гербольд.

— Унификация — всегда плохо и всегда ведет ко лжи. Впрочем, меня ко всенародному айнтопфу не только не станут приобщать, но и не допустят, я думаю.

Подняв глаза от похлебки, Гербольд встретил его взгляд и спросил:

— Почему?

Он не стал бы задавать бестактный вопрос постороннему человеку, но было во встречном взгляде нечто, позволяющее и даже требующее спрашивать. Печаль, усталость… Пронзительность. Такой взгляд бывает у человека, которому не просто не с кем поговорить, но не с кем поговорить без страха.

— Моя бабушка была еврейкой, — ответил тот.

— А в айнтопфе свинина?

— Я не соблюдаю, — улыбнулся он. — Да, собственно, и не задумывался о своем еврействе никогда. Теперь пришлось задуматься. — И, видя недоумение в глазах Гербольда, объяснил: — Евреи теперь изгои в Германии, и это закреплено законами.

— Не может быть! Хотя я, конечно, не интересовался специально…

Гербольд, разумеется, знал, что уже полгода как в Германии новый канцлер, но что собой представляет этот Гитлер, было пока не очень ясно. Говорит о возрождении духа нации, но о чем-то подобном говорят все правители, и что можно против этого возразить.

— Может, может. — В глазах собеседника промелькнуло что-то жалкое. Тут же он коснулся лица ладонью, словно устыдился этого, а когда опустил руку, жалкое выражение исчезло. — Недавно приняли закон о чиновниках, среди них не должно быть евреев. В частности, меня уволили из почтового ведомства — бабушкиной крови оказалось для этого достаточно. То же с врачами, то же с нотариусами и с профессорами. Больше никаких евреев в этих профессиях.

Он перечислял с какой-то мазохистской интонацией. Гербольду стало не по себе. Кажется, его визави догадался об этом.

— Извините, что беспокою ненужными вам сведениями, — сказал он. — Просто мне хотелось узнать: ведь у вас этого нет? У вас в СССР, я имею в виду.

— Нет, конечно, — подтвердил Гербольд.

«Хотя бы этого у нас нет», — подумал он при этом.

— А как вы думаете… — Собеседник явно колебался, потом все же спросил: — Как вы думаете, если я обращусь в советское посольство с просьбой о визе, мне ее дадут? Возможно, это называется не визой, а как-то иначе. В общем, дадут мне разрешение на постоянное проживание у вас?

Никогда Гербольд не задавался подобными вопросами, да и с чего бы. Но просто сказать, что понятия об этом не имеет, сказать именно этому, с тоской в глазах человеку, он не мог.

— Может быть, вам стоит попросить вид на жительство где-нибудь поближе? — осторожно поинтересовался Гербольд. — Во Франции, в Австрии… Чтобы в любой момент иметь возможность вернуться. Ведь здесь у вас все может измениться.

— Может, — вздохнул тот. — Но вряд ли к лучшему. Я пытаюсь прояснить все возможности. Даже в Африку готов, хотя в это трудно поверить, конечно. Не думайте, я не претендую на пособие, я сам смогу себя обеспечивать! — В его голосе мелькнула уже не тоска, а отчаяние. — В любой стране. Да, я работал чиновником, но у меня есть профессия, благодаря бабушке, кстати, она настояла — считала, что чиновник это не специальность. Я учился на химика. Вот посмотрите.

Он быстро достал из-за пазухи и положил что-то перед Гербольдом, передвинув при этом горшок с айнтопфом так, чтобы соседу справа — тот, впрочем, был занят спором с приятелем и ни на кого не обращал внимания, — не был виден предмет на столе.

Гербольду показалось, что это звезда, таким живым, и загадочным, и ласковым был ее блеск. Не сразу он понял, что это брошка или, может быть, дамская заколка, состоящая из нескольких кристаллов.

— Посмотрите, посмотрите, — повторил его собеседник. — Вы видите, как они блестят? — Его глаза тоже блестели, но не загадочно, а лихорадочно. — Я сам изобрел состав, который дает такой эффект. Не успел запатентовать, а теперь, думаю, мне уже не позволят… Похоже на северное сияние, правда? Сияние северной Авроры. Я добивался, чтобы было похоже. Читал легенды про про духов, путешествующих по небу, искры, высекаемые хвостом лисицы, которая танцует в ночной тьме, или отблески от щитов валькирий… Я не могу здесь оставаться! — воскликнул он. — Унижение — невыносимая вещь, физически невыносимо сознавать, что ты унижен. Вы этого не знаете…

— Я знаю, — сказал Гербольд. И повторил: — Знаю.

Отчаяние, которое он расслышал при этом в собственном голосе, было не меньшим, чем отчаяние в голосе его несчастного собеседника.

Глава 14

— Вы выступили совершенно правильно, товарищ Гербольд.

В голосе Левертовой слышалось искреннее одобрение. Она вообще была искренней, Гербольд понял это, как только познакомился с нею. Все старые большевики искренни, наверное.

Левертова догнала его у калитки — он вышел на улицу сразу же, как только все закончилось. Остальные еще гомонили на веранде дома Лютце, обсуждая собрание. Он по привычке называл иногда домом Лютце соседский дом, хотя в нем уже три года как поселились супруги Левертовы с сыном, Васиным ровесником, и память о беглом инженере изгладилась совершенно. Вместе с их вселением закончились и театральные экзерсисы — Левертовы предоставляли свой дом только для идейно полезных дел. Например, для общего собрания жителей поселка Сокол, как сегодня.

Гербольд смотрел на Левертову и не понимал, что она говорит. Просто не слышал ее голоса. Собственный голос стоял у него в ушах, перекрывая все, и этим своим голосом он произносил: «Я присоединяюсь к единодушному осуждению гражданина Морозова за настроения, противоречащие идеям социалистического строительства…» Это было похоже на шум крови, который — Ольга рассказывала когда-то — мог свидетельствовать о скачке давления и быть предвестником апоплексического удара.

— Только я не назвала бы взгляды Морозова настроениями. — Голос Левертовой все-таки донесся до него сквозь этот шум. — Он враг, товарищ Гербольд. Настоящий враг. И у него не настроение, а вражеское мировоззрение.

— Вы преувеличиваете, — с трудом ворочая языком, произнес он.

— Нет! — Черные глаза Левертовой сверкнули. Страсть уверенности в своей правоте полыхнула в них. — Вы забыли процесс Промпартии? Всего три года прошло! И ведь вражеское гнездо было как раз

в Госплане. Если бы органы более тщательно поработали тогда по Морозову, мы сейчас не имели бы в своей среде скрытого вредителя.

— Морозов не может быть вредителем. — Гербольд слышал, как тихо звучит его голос. — Он давно не работает в Госплане.

— Он вообще не работает, — отчеканила Левертова.

— Он не может никуда устроиться.

— Вот именно. Это о многом говорит, разве непонятно? Морозов живет на иждивении жены.

Дверь дома открылась, и на крыльце появилась Ольга. Пока она шла по травянистой дорожке к калитке, взгляд ее не отрывался от Гербольда. Он думал, что приблизившись она плюнет ему в лицо, и лучше бы плюнула, но Морозова прошла мимо него молча, и только ее взгляд сверлил его, кажется, даже тогда, когда он видел уже только ее затылок и уложенные короной косы.

Морозов шел за женой молча и смотрел в землю.

— Его супруга квалифицированный хирург, бесспорно, — проводив их взглядом, сказала Левертова. — Но это неправильно, что она работает в ведущем медицинском учреждении страны. Если бы их обоих своевременно отправили на Соловки или хотя бы просто выслали из Москвы, то Морозов не занимался бы антигосударственной деятельностью и не принимал бы у себя в доме иностранцев, которые непонятно по чьему заданию находятся в СССР и, я уверена, готовят здесь у нас срыв планового строительства.

Левертова привыкла выступать на собраниях — может быть, еще в Швейцарии, где она была в эмиграции вместе с Лениным, — и речь ее, одновременно монотонная и страстная, буквально впивалась в мозг. Каждое слово было вроде бы обычным человеческим словом и соединялось с другими словами правильно с точки зрения грамматических и синтаксических правил, но все вместе ее слова производили впечатление безумия. Наведенного бреда, так это, кажется, называется.

Гербольд молчал.

— Надеюсь, наше собрание будет иметь последствия, — подытожила Левертова. — Протокол я передам в райком. Вы молодец, что выступили.

Как будто он мог не выступить!

Гербольд кивнул соседке, прощаясь, и медленно пошел по улице к своему дому. К концу мая весенняя грязь высохла, но ему казалось, что на его туфли налипает могильная глина.

Тишина в доме тоже стояла могильная. Или ему уже всюду мерещился этот мертвый дух унижения? Какая теперь разница…

Марфа утюжила рубашки ему в командировку, поставив гладильную доску в гостиной.

«Вот кто не меняется ни от чего, ни на йоту. Сколько ей лет?» — подумал Гербольд.

Сознание его цеплялось за неважные и даже бессмысленные вещи. Не все ли равно, сколько лет Марфе? Возможно, она одного с ним возраста, возможно, старше или моложе. Какое это имеет значение?

— Дома? — с трудом шевеля языком, спросил он.

Сил не было даже на то, чтобы уточнить, о ком он спрашивает. К счастью, Марфа не нуждалась в уточнениях.

— Вася в детской, — складывая выглаженную рубашку, ответила она. — Воздушного змея клеит, как в садике учили. Вас ждет, чтобы помогли.

— Из садика давно вы его привели? — машинально спросил он.

— Евдокия Романовна привела. Потом ушла.

— Куда?

Он вздрогнул, хотя голос Марфы звучал с обычной бесстрастностью. Он чувствовал себя выпотрошенным, но нервы его были обнажены.

— Не сказала.

Конечно, вечером Донка могла уйти куда угодно — в театр, или просто встретиться с какой-нибудь приятельницей-актрисой, с которой вместе выступала в концертах; он не следил за ее встречами и тем более им не препятствовал. Но все-таки странно

было, что она ушла при том, что завтра утром он уезжает в Берлин, и что не предупредила его о своем уходе.

Он помог Васе склеить змея — для своих пяти лет мальчик приобретал различные навыки быстро. Потом в детскую пришла Марфа, чтобы укладывать его, и Гербольд спустился вниз. Вечер был теплый, он вышел на крыльцо и сел на ступеньки.

Был последний день мая, долго было светло, но Донка появилась у калитки уже в полной темноте. Пройдя по дорожке, она остановилась перед мужем. Гербольду показалось, если бы он не сидел на крыльце, мешая ей пройти, то и не остановилась бы.

— Что-то случилось? — спросил он, глядя снизу в ее сливающиеся с темнотой глаза.

— Я слышала ваше собрание. — Она никогда не ходила вокруг да около, органически не могла говорить о постороннем. — Проходила мимо левертовской веранды, когда возвращалась с Васей из садика, увидела, что ты выступаешь…

Она замолчала, будто захлебнулась. Гербольд почувствовал, как поднимается у него в груди что-то неукротимое.

— И?.. — проговорил он. — Что же ты не продолжаешь? Скажи: как ты мог это сделать!

Она молчала. Потом сказала:

— Дай мне пройти.

Гербольд поднялся со ступенек и сделал шаг в сторону. Донка прошла мимо него, поднялась на крыльцо. Ее молчание было убийственным. Закрылась за ней дверь. Гербольд остался один в темноте под звездами.

Он знал, что означает ее молчание, что вообще она думает о его нынешней жизни. Донка не говорила об этом, но когда год назад он сообщил, что закрыл свое бюро и перешел на работу в Госстрой, она спросила:

— Зачем, Леня?

Вопрос так рассердил его, что он заорал:

— Затем, что работать хочу! Строить хочу! И могу, и буду!

Он вспомнил проект Дома рабочих, который должен был появиться вместо бывшего купеческого особняка на Плющихе. Это был любимый его проект, не менее необычный, чем у Корбюзье, и даже более, тешил он себя надеждой, и как он мог согласиться, чтобы лучший плод его труда был отправлен в корзину? А это произошло бы точно, если бы Гербольд не согласился отдать его Госстрою. Да что там согласился — если бы не добился для себя возможности делать его уже в новом качестве государственного служащего.

— Ничего частного больше не будет, это ты понимаешь? — глядя на жену почти с ненавистью, хотя она была последней, кого можно было в чем-то винить, сказал он. — Ни театров, ни… Ни-че-го! Только государственное. И что мне, живым в могилу лечь?

Донка тогда коснулась ладонью его лба и посмотрела так, что он почувствовал себя калекой, выпрашивающим милостыню у вокзала.

А сейчас она не сделала и этого.

Когда Гербольд поднялся в спальню, жена уже легла. Он молча разделся. Его била дрожь. Когда он лег рядом с нею, то почувствовал, еще не коснувшись ее, что она напряжена, сжата как пружина. И потом, уже коснувшись, уже притянув ее к себе резким, почти грубым движением, чувствовал это тоже.

— Я не мог, — произнес он, задыхаясь. — Морозову уже не помочь, а вы… Вас они уничтожат. Тебя, Васю. Я не мог!

Ему необходимо было выговорить это сейчас, когда голос его срывался от простого физического желания, потому что иначе он не сумел бы скрыть жалких интонаций, а ему не хотелось ее жалости, невыносимо было бы перенести унижение, испытанное сегодня во время собрания, еще и сюда, в постель.

Но когда она подчинилась ему, его мужскому праву, с обреченностью тряпичной куклы и молча выполняла его желания, этой ночью лихорадочные, совершенно безумные, — это было унижением гораздо более мучительным, чем все, что он знал до сих пор.

— Вы подумали о чем-то печальном?

Голос собеседника пробился в сознание Гербольда не сквозь шум пивной, а сквозь мрак воспоминаний.

— Да, — машинально ответил он. — То есть это неважно.

— Извините, если я стал причиной неприятных для вас мыслей. Вероятно, я распространяю теперь свое состояние как инфекцию. Прокаженных не зря держат в лепрозориях, изолируют от здоровых людей.

— Вы совершенно ни причем, — сказал Гербольд. — Это личное. Я… поссорился с женой перед отъездом.

Невозможно было назвать ссорой то, что висело в воздухе, когда утром он выходил из спальни, а Донка лежала с закрытыми глазами и вся была воплощенное отчаяние. Разбитым счастьем это называлось, вот как. И склеится ли оно снова?

— Надеюсь, вы объяснитесь с ней, когда вернетесь. — В голосе его собеседника послышалось искреннее сочувствие. — И знаете… — Он помедлил,

но все же сказал: — Я вам завидую. Вы не представляете, какое это счастье, страдать из-за ссоры с женой. Она красивая?

— Да, — кивнул Гербольд. — Как ваши кристаллы Авроры, — добавил он, глядя на звезду, таинственно сверкающую перед ним на столе.

— И наверняка умная.

— Почему вы полагаете?

— Вы не производите впечатления человека, у которого может быть глупая жена.

Гербольд не сумел бы определить тот способ мышления, который всегда был присущ Донке. Он вспомнил, как однажды она сказала ему: «А я знаю, почему ты во всем так основателен. То, что ты построишь, уже нельзя ведь будет изменить, поэтому ты и не можешь позволить себе переменчивости желаний». Умом ли это называлось? Гербольд не знал. Но понимал: лучшее, что он знает о жизни, — знает через нее.

— Возьмите. — Собеседник быстрым движением подтолкнул звезду поближе к Гербольду. —

Это плод моего отчаяния, но если я буду знать, что на него смотрит необыкновенная женщина, это придаст моему существованию хотя бы малый смысл. Возьмите, возьмите, — повторил он. — Вы сделаете мне одолжение. Смысла в моем нынешнем существовании в самом деле нет, поверьте, оно жалкое и ничтожное. А в счастливом женском взгляде смысл есть всегда.

Прежде чем Гербольд успел возразить, он поднялся и, перешагнув через оградку биргартена, исчез в темноте летнего вечера.

Гербольд хотел окликнуть его, но как? Не «эй» же кричать. Он опустил взгляд — на темной поверхности стола сияла звезда, обещая смысл и счастье.

Глава 15

Он нажимал на кнопку звонка раз за разом, но за дверью было тихо. Наконец Гербольд отпер дверь своим ключом, вошел — и замер на пороге.

От того, что тишина была абсолютной, разор бросился ему в глаза сразу. На столе в гостиной лежали ветки сирени, рядом с ними — опрокинутая ваза. Вода из нее была разлита по столу и по полу. Вероятно, Марфа наломала в саду сирени, чтобы поставить в комнате, но что-то отвлекло ее настолько, что она бросила свое занятие, не вытерев даже пролитую воду и не подняв опрокинутый стул.

Сирень была уже увядшая — значит, времени после этого прошло много.

— Донка! — крикнул Гербольд. — Вася!

Ответом была гробовая тишина. Взбегая по лестнице на второй этаж, он готов был к тому, что увидит там трупы. Но комнаты были пусты и не выглядели разоренными. Что на полу в детской разбросаны игрушки, было обычным делом.

Гербольд выбежал из дому. Сердце колотилось у него в горле, и от того, что он совершенно не понимал, что делать, растерянность лишь усиливалась. Он заставил себя остановиться, унять сердцебиение и рассудить сколько-нибудь здраво.

Произошло что-то неординарное, это безусловно. Никаких признаков того, что непременно опасное, пока нет. Надо понять, куда его домашним пришлось уйти так срочно, и исходя из этого понимания решить, что ему делать.

Гербольд вышел на улицу и, стараясь не переходить на бег, направился к соседнему дому. Неизвестно, видел ли кто-нибудь, что произошло, но соседи могли это видеть с большей вероятностью, чем кто-либо другой: деревья, которые Гербольд высадил два года назад с помощью Марфы, были еще слишком малы, чтобы заслонять обзор.

К соседям пришлось стучать — после вселения Левертовы не озаботились устройством быта, и звонка у их входной двери не было. Все-таки он

чрезмерно педантичен, вечно отмечает какие-то мелочи; Донка всегда смеялась над этим его качеством.

Вид у Левертовой, открывшей ему дверь, был такой смятенный, что у Гербольда сердце оборвалось.

— Леонид Федорович… — пролепетала она.

Соседка никогда не называла его иначе как товарищем Гербольдом, и он только сейчас понял, что и сам не знает ее имени и никогда не слышал в ее голосе каких бы то ни было чувств, кроме страсти по отношению к отвлеченным вещам.

Сейчас в ее голосе был слышен, а в глазах виден ужас.

— Где они? Скажите! — потребовал он.

— Вася у нас, — поспешно ответила Левертова. — Играет с Аликом. С ним все хорошо. А ваша супруга… Она… Я не…

Проклятье! Когда от человека естественно ожидать растерянности, смятения, хотя бы сомнения, она была как стальная болванка и в голосе ее не слышалось ни единой человеческой интонации. А теперь, когда даже минимальное промедление

невыносимо, мямлит что-то невнятное и губы у нее дрожат.

— Где она?! — заорал Гербольд. — Да говорите же вы!

— В Первой градской, — быстро ответила Левертова. — В нее стреляли, но кто, не могу вам сказать, просто не знаю. Ваша домработница привела к нам ребенка и поехала туда. Вместе с Морозовой. На милицейской машине.

Расспрашивать подробности некогда: по тому, что сказала Левертова, понятно, что объяснение займет слишком много времени. Достаточно того, что он понял, где искать Донку.

«Если жива», — мелькнуло в голове, но Гербольд отогнал эту мысль с такой яростью, от которой чуть не задохнулся на бегу.

Дальнейшее — как он стоял посередине дороги, останавливая машины, как довез его до Шаболовки лихой водитель грузовика, повторявший всю дорогу с простыми крестьянскими интонациями «не хвалюйся, отец, доедем», как бежал он между больничными корпусами, бросаясь к каждому встречному с

вопросом, где найти доктора Морозову, и этот вопрос, на который каждый встречный знал ответ, помог ему оказаться в хирургическом корпусе так быстро, как донесли его ноги, — все это запомнилось ему как одна сплошная линия, которая должна была закончиться поскорее и закончилась, когда, пройдя мимо Марфы, неподвижно сидящей на стуле в коридоре, Ольга остановилась перед дверью палаты и, придержав его за локоть, сказала:

— Пять минут. Больше она не выдержит, — и он вошел.

Койка в палате была одна, и на ней лежала Донка. Леонид не узнал бы ее, если бы не знал, что больше здесь быть некому. Ее лицо не сливалось с наволочкой лишь потому, что было серым, а не белым. Волосы лежали на подушке тусклым комом. Стула в палате не было, или был, но где-то в стороне, и он его не увидел, потому что смотрел только на Донку.

Подойдя, Леонид присел у кровати на корточки. Ее руки лежали поверх простыни, которой она была накрыта. Когда он взял ее за руку, она открыла

глаза. Он понял, что она хочет что-то сказать, но у нее недостает сил — губы двигаются, но звуков не слышно.

— Молчи, не говори, — быстро сказал он. — Побереги себя.

— Нет… — наконец смогла произнести она. — Не надо… уже… Хорошо, что тебя… успела…

Мутная пелена в ее взгляде развеялась. Черные глаза не стали светлыми, какими были всегда, но их выражение приобрело осмысленность.

— Что с тобой случилось? — спросил Леонид.

И сразу же пожалел, что спросил. Как она станет рассказывать, зачем? У нее энергии не хватит на объяснения.

Но Донка ответила — может быть, его появление придало ей сил.

— Я хотела уйти, Леня, — сказала она. — Совсем уйти от тебя. Чтобы ты не унижал себя. Тебе легче было бы без нас.

— Что ты говоришь?.. — с ужасом пробормотал он. — Как тебе в голову такое пришло?!

— От… отчаяние… — с трудом выговорила она. — Невыносимо было видеть, как ты… себя ломаешь из-за нас…

— Господи, что ты несешь!

Он почти выкрикнул это, на мгновенье забыв, в каком она состоянии, и сжал ее руку. Донкин палец погладил край его ладони, и руку он сразу отпустил.

— Ты лучший человек, кого я знала, — сказала Донка. — Какой только может быть. Леня, как же страшно…

— Тебе страшно? — Он прижался губами к Донкиной руке и стал судорожно целовать ее холодные пальцы. — Не бойся, милая, ничего не бойся!

— Ты не дашь меня убить? — Улыбка скользнула по ее губам. — Я знаю. Как же страшно, Леня… Что за время? Лучшее, что в человеке есть, оборачивается худшим, его же и уродует, и ломает. Зачем нас в это бросили, за что?..

Длинная эта фраза отняла, видно, последние Донкины силы. Глаза ее закрылись, губы стали синеть. Леонид вскрикнул.

Дверь палаты распахнулась, и Ольга сказала, входя:

— Все, идите. Иди же! — прикрикнула она. И добавила уже мягче: — Я ей морфий уколю, и она все равно уснет. И хорошо, иначе болевого шока ей не выдержать. Иди, Леня, пожалуйста.

Леонид вышел в коридор шатаясь, как будто морфий укололи ему. Марфа поднялась со стула, сказала:

— Сядьте.

Он сел послушно, как в тюрьме.

— Лучше ее нету, — сказала Марфа. — Она меня у солдат когда-то отбила. Пьяные были, никто с ними связываться не хотел, она одна не побоялась.

— Что с ней случилось?

Леониду казалось, что перед ним не Марфа, а иконный лик, и не женский, а архангела Рафаила, каким видел он его в детстве в церкви.

— К отцу она пошла, — ответила Марфа. — Договориться хотела, чтобы ей уехать. Мне сказала: ты

меня не удерживай, побудь с Васей, я его потом заберу. Леониду, сказала, без нас легче будет, а с нами он не выдержит.

— Заче-е-м?..

Ему показалось, что он не проговорил это и даже не простонал, а провыл.

— Она лучше знала, — отрезала Марфа. — Людей видела насквозь, а вас и труда нет видеть — вы человек кристальный. Сказала: надо было мне раньше уйти, он из-за границы и не вернулся бы теперь, а из-за нас вернется и снова мучиться будет. Очень вас любила, — помолчав, добавила она.

— Не говори в прошлом!

— Не выживет она, — сурово сказала Марфа. — Он ей в живот попал, в печень. Умерла бы уже, да видно, сильно хотела вас дождаться.

Не по словам ее, а по тому, что Марфа знала вне слов, Леонид понял, что это правда. Как жить с этой правдой, он не знал и ни малейшего желания жить не испытывал.

— Почему он стрелял? — мертвым голосом произнес он.

— Он ей сказал, что просто так ее цыгане не примут и помогать ей не станут, а надо замуж идти, за кого он велит. Она и хотела отступиться — одумалась, может. Да поздно было. Так милиционер говорил, когда к нам приехал выяснять, что к чему. А как оно на самом деле было, кто теперь узнает.

Никто не узнает. Как она сказала — лучшее, что в человеке есть, оборачивается худшим? Она его любила и хотела спасти — и вот как обернулось…

— В отчаянии к извергу тому бросилась, — словно угадав его мысли, сказала Марфа. — Одно отчаянье ее вело.

Ее суровость была холодна, как жизнь. Леонид физически почувствовал этот холод и поежился, спрятал руки в карманы. Что-то укололо ему палец.

Звезда лежала у него на ладони. Поблескивали кристаллы. В каждой их грани отражалось его лицо — размноженное его одиночество.

Он отрешенно смотрел на эту дурную бесконечность, пока не вышла из палаты Ольга Морозова и молча не остановилась перед ним.

Глава 16

Что ж, следует решить, что делать в ближайшее время и что делать вообще.

Одно хорошо: среди болезненных, обостренных ее ощущений нет ощущения, что разрушились какие-то планы. Никаких житейских планов Нэла в связи с Антоном не строила и без всякого труда могла вернуться к любой из своих жизненных стратегий. Это и надо было решить в первую очередь — куда она поедет, чем займется. Потом — квартиру поискать.

Можно было, правда, и не искать квартиру, а просто поехать к Пьетро. Они расстались два года назад, но отношения сохранились дружеские, и Пьетро не скрывал, что готов снова перевести их в разряд близких. Он был умен, тонок, происходил из очень старой и очень достойной венецианской семьи, и жилищный вопрос решался таким образом не только легко, но и красиво: волны канала плескались у порога его дома, рядом была лестница, по которой Данте ходил на собрания тамплиеров, и слышно было, как играет орган в ближней церкви.

Впрочем, эту возможность Нэла не рассматривала, иначе с Пьетро и не расставалась бы. Так что следовало все-таки рассудить о самостоятельном устройстве своего ближайшего будущего, решить, где она обоснуется, и взять билеты на самолет.

— Может, здесь останешься? — спросил брат, узнав, о чем она размышляет.

О подробностях ее разрыва с Антоном он не спрашивал — наверное, по ней все-таки было заметно, что тема эта для нее не безболезненна.

— Нет, Вань, не останусь, — ответила Нэла. — Тем более и родители скоро возвращаются.

— Это вообще не причина. Дом большой. Или в папину мастерскую можешь перейти, она же отдельно стоит, и комната там жилая. Да хоть к нам переходи! Две комнаты свободны — Евгении Вениаминовны спальня и Левертова кабинет.

Нэла спрятала улыбку, отметив это «к нам». Да, смешно было тревожиться о том, что Ваня бросит жену из-за ее беременности. Кристальная ясность его натуры не позволяет предполагать, что в душе у него таятся черные бездны.

— На Новый год хотя бы останешься? — спросил он.

— Нет.

— Почему?

Ну что объяснять? Что меньше всего ей хочется сейчас праздника?

— Билеты проще взять, — улыбнулась Нэла. — В новогоднюю ночь дешевые будут.

Билетов на новогодние рейсы действительно было полно, и куда угодно; наверное, поэтому Нэла дотянула с покупкой до тридцатого декабря.

Она как раз водила пальцем по экрану айпада, выискивая подходящий берлинский рейс — да, Берлин был понятен, привычен, там была Марион, и там не было Антона, никогда не было, поэтому она решила лететь туда, — когда раздался сигнал скайпа и на экране появилось папино лицо.

— Ну, — сказал он, — я наконец свободен, дорогая дочь, и готов отвечать на твои вопросы.

— Какие вопросы? — удивилась Нэла.

— Здрасьте! То каждый день меня теребила, брось все, рассказывай про деда, то вообще забыла.

В комнате, где папа был сейчас, слышался гул — вечный живой гул Нью-Йорка. Он протянул руку и закрыл окно.

— Нет, — сказала Нэла. — Я не забыла.

«Просто не нужно все это больше», — могла бы добавить она.

Но не добавила, конечно.

— Я его отлично помню, — сказал папа. — Мне же двадцать пять лет уже исполнилось, когда он умер.

— Какой он был? — спросила Нэла.

А что еще можно было спросить? Дома, ради которого она тормошила папу, все равно уже нет, остается только слушать подробности семейной жизни.

— Отрешенный, — ответил папа.

— Странное определение!

— Но точное, думаю. Он работал до последнего дня — преподавал в МАРХИ — и был педантичен донельзя. То есть не педантичен, это я неправильно выразился… Помню, как-то его спросил: зачем ты каждый год заново конспекты лекций пишешь, ты

же наизусть все знаешь, наверное. Он сказал: приличный человек не должен предлагать молодым людям старые сведения, когда есть новые. Он журналы на трех языках выписывал — в курсе всего нового был, конечно.

— Но все-таки первое, что ты сказал — отрешенный, — напомнила Нэла.

— Он таким и был. Не вялым, не равнодушным, а вот именно отрешенным. У меня, знаешь, было стойкое ощущение, что жизнь для него — выполнение долга, ничего более. Нас с Зоей он любил, как всякий нормальный человек внуков любит, папу, я думаю, тоже, хотя внешне между взрослыми немолодыми людьми это не очень заметно. Но все-таки мне казалось, он живет, потому что это обязанность, уклоняться от которой непорядочно.

— А бабушку-то он любил? — спросила Нэла.

Разговор, который она всего лишь хотела отбыть, заинтересовал ее.

— Не думаю, — ответил папа.

— Ничего себе!

— А что особенного? Милая моя, людей связывает в жизни не только любовь. Вернее, не только физическая ее составляющая. Она-то как раз очень быстро перестает что-либо связывать — сгорает, как бикфордов шнур. А обязанность жить остается. Если у человека есть представление о своих врожденных обязанностях, конечно. У деда оно было, у бабушки Марфы тоже, ну они и жили вместе, и умерли сразу друг за другом. Бабушка была из монахинь, кстати, — сказал папа. — Я, конечно, и в мыслях не держал спросить, но не удивился бы, если б выяснилось, что она так и оставалась Христовой невестой.

— Ну уж такого-то точно быть не могло, — улыбнулась Нэла. — Сын-то у них был.

— Сын был не ее.

— Да ты что! — воскликнула Нэла. — А почему я этого не знала?

— А ты когда-нибудь спрашивала? — усмехнулся папа. — История эта, правда, мало мне известна. Дед об этом не говорил никогда, бабушка

тоже. Но папа мой свою мать помнил. Ему пять лет было, когда она умерла.

— А почему умерла? — спросила Нэла. Информация, что и говорить, оказалась ошеломляющая. — Посадили, расстреляли?

— Да нет, — пожал плечами папа. — Убил на улице какой-то бандит. Дед не говорил об этом категорически, — повторил он. — Если он кого-нибудь когда-нибудь по-настоящему любил, то, судя по всему этому, ее. А Марфа была папиной няней. Потом они с дедом расписались.

— Это невозможно так оставлять, — твердо сказала Нэла. — Это надо понять, выяснить. Я, конечно, дура, что раньше не интересовалась, но теперь надо хоть записи какие-нибудь поискать. Не может же быть, чтобы ничего не сохранилось!

— Записи я искал, — кивнул папа. — Но они от деда остались только рабочие. Личных — ни строчки. Я их в Музей архитектуры передал, — добавил он. — Про дом на Плющихе, которым ты интересовалась, там тоже может быть, думаю.

«Не надо про этот дом!» — чуть не крикнула Нэла.

После того, что она так неожиданно узнала о Леониде Федоровиче Гербольде, сознавать, что уничтожено холодной бездарной рукой то, что наверняка было ему дорого, — показалось ей невыносимым.

К счастью, зазвонил ее телефон, и папа сказал, чтобы она ответила, а ему перезвонила позже, потому что у него сегодня свободен весь день.

Номер на экране высвечивался не иностранный, но и не московский. Нэла поколебалась, отвечать ли, вспомнила, что непорядочно уклоняться от своих обязанностей, улыбнулась и ответила.

Глава 17

— Пусто как… — Нэла поежилась. — А если машина сломается? Метелью занесет, никто и знать не будет.

Белая дорога видна была вся, до горизонта, и ни единой темной точки не было видно на ней.

— Так ведь нет сейчас метели, — рассудительно заметил шофер.

— Все равно. Ни огня, ни черной хаты…

— Глушь и снег… Навстречу мне только версты полосаты попадаются одне.

— Вы знаете? — обрадовалась Нэла.

— Так ведь в школе учил. Сейчас и не учат уже, может. Не до Пушкина им. А нас в Михайловское возили всем классом. На всю жизнь запомнилось. Честное слово, даже как-то по-другому жить стал после того как туда съездил.

— Почему?

— Не знаю. То есть знаю, чувствую, но объяснить не могу.

Нэле и не нужны были объяснения. Зимняя ли дорога располагала к тому, чтобы понимание устанавливалось само собою, то ли, что водитель знал стихи, которые и она знала как себя, и больше, чем себя.

— Как вас зовут? — спросила Нэла.

— Евгений Павлович.

— Меня Нэла.

— А по отчеству?

— Николаевна. Но можно просто Нэла.

— Не привыкли к отчеству? — улыбнулся он.

— Ага, — кивнула она. — За границей много живу.

— Нравится?

— Да.

Нэла насторожилась. Сколько раз уже бывало, что в ответ на сообщение о том, что она была в Италии, или летит из Берлина, или пишет для французского журнала, немедленно следовал поток такой дремучей злобы, как будто обезумевший телевизор включен был у собеседника прямо в голове. Как раз таксисты особенно этим отличались почему-то.

— Я, когда молодой был, тоже путешествовать хотел, — вздохнул Евгений Павлович. — Да и сейчас хочу. Только не на что. Заперли нас нищетой, а теперь в уши льют, враги, мол, кругом. Чтоб никуда и не рвались, значит. А вы к кому в Нефтеюганск, к родственникам?

— Да, — кивнула Нэла.

Объяснить подробнее было бы сложно, да и ни к чему.

— Одеты легко, — заметил он. — А в Сибирь ведь летели.

Экологичная итальянская шубка из серебристого искусственного меха не подходила к здешнему климату совершенно. Нэла промерзла до костей, пока бежала до такси, и даже при включенной печке не сразу отогрелась в машине.

— Неожиданно пришлось лететь, — ответила она. — Да у меня и нет одежды для Сибири.

— Родные что-нибудь найдут, — успокоил он. — У нас люди другие, чем в России, в беде не оставят.

Показалось удивительным, что он считает Сибирь отдельной от России, но от московских здешние обыкновения отличались точно. Это Нэла заметила сразу же, как только сошла с трапа. Ветер чуть не сбил ее с ног, и мужчина, спустившийся вслед за ней на летное поле, не говоря ни слова подставил ей согнутую руку, за которую она тут же ухватилась, и довел до здания аэропорта, взяв при этом у нее и сумку, совсем даже не тяжелую.

До Нефтеюганска водитель успел еще сообщить, что, когда работал на буровой, любил смотреть на тайгу с площадки, где закрепляют трубы для спуска в скважину, потому что оттуда величие Земли чувствуешь, что Нефтеюганск тогда можно было за час обойти, и такой он был неприглядный, будто босой, улицы как песчаный поток, дюны да барханы, а сейчас совсем другое дело…

— Все-таки мы не зря прожили, — сказал Евгений Павлович, уже остановив машину. — Себе доказали, что все можем, и нефть добыли для страны. Ну, счастливо вам. Родственникам здоровья, — добавил он, кивая на больничный корпус.

— Очень хорошо, что вы приехали, — сказала врач, выйдя к Нэле из ординаторской. Смотрела она на нее, впрочем, сурово. — У нас здесь пациенты, конечно, не заброшены, но все-таки, когда пожилой человек в таком положении, родственное внимание необходимо.

Вряд ли ей стоило выслушивать наставления, но раз приехала, деваться некуда. Могла бы и не приезжать, конечно. Или не могла бы?

Из Сургута, как только приземлился самолет, Нэла в очередной раз позвонила Антону по всем известным ей телефонам и в очередной раз выслушала, что все они выключены. Сообщения, отправленные в его мессенджеры, не были прочитаны, в этом она тоже убедилась по приземлении.

— Как Валентина Петровна себя чувствует? — спросила Нэла.

— Удовлетворительно. Инфаркт обширный, можно было ожидать худшего.

— Может быть, ее надо прооперировать? — спросила Нэла. — При инфаркте оперируют, я слышала.

— Где вы слышали?

— В Германии.

— В Германии, может быть, и оперируют. А у нас человека ее возраста оперировать никто не будет.

— Вы этим как будто гордитесь.

Врач окинула Нэлу неприязненным взглядом и, не ответив, открыла дверь реанимации.

— Вы бы ей лучше сиделку наняли, — все-таки сказала она, пропуская Нэлу перед собой.

— Найму, — кивнула она. — Можно сегодня?

— Сегодня вечером Новый год. Но вообще это вопрос финансовый.

— Элина Георгиевна, — сказала Нэла, глянув на ее бейдж, — я буду очень вам признательна, если вы кого-то порекомендуете.

Заискивать перед врачом она не хотела, но и для высокомерия не видела никаких причин.

— Поищем. — Эльвина Георгиевна посмотрела на нее несколько мягче. — Людям работа нужна.

Реанимационная палата была большая. Врач указала Нэле в дальний ее угол и ушла, сказав, что сообщит, если найдет сиделку.

Прошло так много лет с тех пор, как Нэла первый и единственный раз видела Антонову маму, что она не надеялась ее узнать. И не узнала бы, конечно, если бы не робкое выражение ее лица и не абсолютная ясность взгляда. Это не изменилось совершенно, и не узнать этого было невозможно.

— Неличка… — проговорила та и попыталась привстать.

— Валентина Петровна, лежите, что вы! — испуганно воскликнула Нэла. — Я сама подойду.

— Зачем же ты приехала?.. — пролепетала она. — Я же не для того… У Антоши телефоны не отвечали, я и сказала доктору, чтобы тебе набрала. Но я же только узнать, где он! У меня телефон твой сохранился, а он ведь говорил, что вроде снова вы сошлись, я и подумала, вдруг ты знаешь…

— Он в командировке. — Нэла села на стул рядом с кроватью. — Скоро вернется.

Позвонившая ей врач, вот эта самая Элина Георгиевна, не сказала, что связывается с ней в справочных целях, а сообщила, что положение очень серьезное и приехать надо немедленно.

Нэла понятия не имела, как живет ее бывшая свекровь. Спросила однажды Антона, почему не перевез маму в Москву, он ответил, что скоро перевезет, и, заметив, что ему не очень приятен этот разговор, Нэла не стала расспрашивать подробнее.

— Ругать меня будет, как из командировки вернется, — виновато улыбнулась старушка.

Да, теперь она выглядела именно старушкой; только цвет синих, как у Антона, глаз остался прежним.

— За что ругать?

Нэла улыбнулась тоже — трогательна была эта робость перед взрослым сыном.

— Да как же? Он мне все время — переезжай, мама, ко мне. А я вот как…

— Что же не переехали?

— Так ведь вся жизнь здесь, — вздохнула та. — Мужнина могилка и Костика, старшего моего. Куда мне от них? Я как узнала, что с сердцем неладно, так и подумала: ну и слава Богу, смерть быстрая будет, не то что люди от рака подолгу всех мучают.

— Вы Антону сказали про сердце? — поинтересовалась Нэла.

— Что ты! — испугалась Валентина Петровна. — Зачем бы я стала ему говорить? Он бы меня тотчас в охапку. Прошлый раз, как приезжал, грозился, что веревками свяжет и увезет. А мне как отсюда?

Это было крепко, как броня, и Нэла не понимала, уважения оно достойно или досады.

— Я ведь с самого начала здесь, — сказала старушка. — Город на моих глазах вырос, на руках моих, можно сказать. А то теперь говорят, не надо, мол, было город здесь строить, болота, климат негодный, вахтовиков надо было присылать… Может, правильно говорят, а только нельзя так с людьми. Мы трудностей не боялись. Я оператором котельной работала на буровой, смена с утра до утра — знаете, как гордилась? Это теперь подача в котлы автоматическая, а тогда все вручную приходилось. Сливать воду ночью из котельной выйдешь — стоишь, ждешь. Луна светит, звезды, тайга, красота невозможная, а ты одна, и то ли волк на тебя выйдет, то ли медведь. Сердце надо храброе иметь, нервы

крепкие. Я хоть робкого десятка, а говорю себе: не бойся, Валя, от тебя зависит, пробурят скважину или нет — пар же для этого нужен. А когда пробурят и нефть пойдет, буровики мне ее в стакане приносят — выпей за удачу. Я и посмеюсь, и умоюсь ею…

Количество монологов «про жизнь», которые Нэле пришлось выслушать на разных языках, не поддавалось подсчету. Но такого она не слышала никогда. Непонятно, что завораживало больше, бесхитростные интонации или запредельная, не имеющая рационального объяснения правота человека, знающего, что он сделал нечто значительное.

— Вы не устали? — все-таки спросила Нэла. — Может, поспите?

— Помню, комнату нам с Андреем дали в бараке, это в поселке Мамонтово было, при буровой, — не слыша ее, продолжала Валентина Петровна; ее тихий голос звенел как струна. — Мы сначала туда из Романова на работу и приехали по вербовке. Утром проснулись, а в коридоре шум такой, что в ушах звенит. Я выглянула — господи, детей туча. Кому пять

лет, кому шесть. Родители на работу уходили, — объяснила она, догадавшись, наверное, о Нэлином недоумении, — а детей-то оставить не с кем. Ну и выпускали на целый день в общий коридор играть.

— Как в коридор? — оторопела Нэла. — Пятилетних детей одних на целый день оставляли?

— И трехлетних оставляли. Костику моему три года и было. А куда деваться? Ни садиков, ни яслей, рабочий день не нормированный, а сплошь ведь молодежь, строить-то не старики приехали. Ты бы видела поселок тот! На болоте мостки, бараки друг к другу прилеплены, и возле каждого коляски детские вереницами стоят. Кто может из родителей, тот днем с работы прибежит, всех детей в бараке и покормит. Люди-то отзывчивые. Однажды на самый Новый год авария случилась — батареи все полопались, а мороз-то минус пятьдесят. Мы в домах пропаном грелись. Потом пожар был — из окон босиком выпрыгивали. И все друг другу помогали!

Как можно было завербовать на буровую людей с маленькими детьми, не подумав даже, с кем родители будут их оставлять, как можно было поселить

рабочих в бараки, где батареи лопаются при пятидесятиградусном морозе, и как можно всем этим гордиться, — было для Нэлы непостижимо.

— У нас здесь красота необыкновенная, — словно расслышав ее мысли, сказала старушка. — В тайге кедром так пахнет, багульником — голова кружится. Брусника, грибы. Мы с мужем на Лисьи острова плавали на катере, клюкву собирали. Он все умел, Андрей, руки золотые были. И детей любил до беспамятства. Когда Костенька на буровой погиб, он и не выдержал… Слава Богу, что Антоша с тобой опять, — сказала она.

— Почему? — вздрогнула от неожиданности Нэла.

— Любит тебя. — Кажется, она удивилась вопросу. — У него, как с тобой разошелся, женщины были, но без любви какой же смысл? Посторонние люди. А когда ты к нему вернулась, у него даже голос переменился.

— Валентина Петровна, вам надо отдохнуть. — Нэла заметила, что пот выступил у старушки на лбу,

и забеспокоилась: зачем позволила ей рассказывать, волноваться! — Я сейчас врача позову.

Дежурный врач и сам уже шел к кровати. Он выпроводил Нэлу из реанимации, сказав, что тревожить пациентку не надо, а надо прояснить вопрос с сиделкой, потому что профессиональный человек здесь нужнее, чем квохчущая дама.

Квохтанья Нэла не издавала, но с суровым реаниматологом согласилась. В следующий час она и проясняла вопросы — с приехавшей сиделкой, с памперсами, с перетертым детским питанием, которое следовало купить в дополнение к больничному рациону, со швейцарскими уколами, которыми за отдельную плату можно было заменить обычные…

Из больницы она вышла уже в кромешную тьму. Ей показалось, что щеки у нее затрещали от мороза. От того, что точно так же сразу затрещали все кости под рыбьей шубкой, ее охватил какой-то первобытный страх. А когда кругом загрохотали петарды — она поняла, что наступил Новый год, — ей стало и вовсе тоскливо.

Хорошо, что к больнице как раз привезло кого-то такси — поскорее запрыгнув в него, Нэла доехала до гостиницы, которую подсказала ей кардиолог Элина Георгиевна. Выяснилось, кстати, что не так уж та надменна, как показалось с первого взгляда, просто восприняла столичную штучку с предубеждением.

Город, мелькнувший за окном машины, выглядел бестолковым и унылым. Как Евгений Павлович говорил — неприглядный, будто босой? Такой и есть. Зачем выстроили на болоте эти одинаковые некрасивые дома? Зачем бросили людей во тьму и холод? И что теперь делать с этими людьми, с их гордостью за то, что они все выдержали и не зря прожили жизнь?

Нэле стало так не по себе от этих мыслей, что она долго не могла отогреться в гостиничном номере, хотя влила в себя две большие кружки чая. Она легла, не раздеваясь, в постель, накрылась с головой одеялом и уснула под непрерывную новогоднюю канонаду.

Глава 18

Нэла проснулась от ровного шума. В не развеявшейся дреме она не могла разобрать, что это, а когда сознание прояснилось, поняла, что это вода шумит в ванной. В ту же минуту она вспомнила, что находится в гостиничном номере города Нефтеюганска, и от страха ее прошиб холодный пот.

«Кто здесь может быть? Да кто угодно… — Она почувствовала, что у нее мелко застучали зубы. — Пьяный какой-нибудь вломился. А может, ко мне просто подселили соседку? Так делали, я слышала… Что за бред! Когда так делали, при советской власти только!».

Впрочем, вполне может быть, что гостиничные порядки не изменились в этом городе с советских времен, не зря их здесь считают прекрасными.

Она спустила ноги с кровати, на цыпочках прошла к двери в ванную. Рядом была входная дверь, и можно было в случае чего хотя бы выскочить в коридор.

Шум воды прекратился. Нэла отшатнулась от двери в ванную одновременно с тем, как эта дверь открылась, чуть не ударив ее по лбу.

Антон стоял на пороге ванной. На его рубашке проступали пятна воды, он был побрит и с мокрой головой, но при всех этих приметах утренней свежести являлся идеальной иллюстрацией к расхожей фразе «краше в гроб кладут».

— Извини, — сказал он. — Я тебе по гроб жизни обязан. Деньги за билеты отдам, конечно. И за все остальное.

— Ты просто скотина, — сузив глаза от ярости, процедила Нэла. — Деньги он отдаст!.. А телефон держать включенным, это никак? Хотя бы матери отвечать, когда у нее инфаркт! — совсем уже глупо воскликнула она.

— Если бы я ей вчера ответил, инфаркт у нее только усугубился бы.

Его голос звучал так холодно, что при всем своем гневе Нэла насторожилась. Холодный мертвый тон, и круги у глаз такие, что цветом с ними сливаются…

— Ты где был? — спросила она.

— В номере.

— В каком?

— В том самом. Сумасшедший корабль, ты сказала? Похоже.

— То есть ты все это время тупо смотрел в стенку и вливал в себя шампанское за сто миллионов. Замечательно!

Возмущению ее не было предела. Она еле сдерживалась, чтобы не залепить ему пощечину, и не могла это сделать только потому, что вообще не могла ударить человека, даже вот этого, доведшего ее до белого каления своим… своей… Всем собою!

— В стенку не смотрел.

Ей показалось, что он улыбнулся. Впрочем, то, что мелькнуло у него в глазах, можно было назвать не улыбкой, а отчаянием. И тут же они стали мертвыми снова.

— А бился об нее головой, — бросила Нэла.

Антон молчал.

— Ты в больнице хоть был? — вздохнула она.

— Сейчас оттуда.

— И что?

— Поговорил с ней, теперь спит. Хотели ее в палату перевести, но я попросил в реанимации оставить. Надежнее.

— И что ты собираешься делать?

— В Москву ее перевозить, в кардиоцентр.

— А до тех пор?

— Отвезу тебя в Сургут в аэропорт и сюда вернусь. Ждать, когда разрешат транспортировать.

— А если она не захочет в Москву? — спросила Нэла.

— Больше я ее спрашивать не буду. И так дождался уже…

В его голосе мелькнуло наконец живое чувство, и хотя это была злость на самого себя, Нэла обрадовалась.

«Я радуюсь?» — удивленно подумала она.

И, еще слыша внутри себя этот вопрос, поняла, что радость ее безмерна. Безмерна!

Все то время, когда молчали его телефоны, она думала о нем — о том, что его, может, уже нет на свете. И как ни глупо было думать таким образом —

при том, что она оставила его в гостиничном номере вполне благополучным и даже почти протрезвевшим, — эти мысли снедали не разум ее, а сердце, и избавиться от них было невозможно.

— Как ты сюда вошел? — спросила Нэла.

Не то чтобы ей необходимо было это узнать, но произнести что-нибудь постороннее было вот именно необходимо. Чтобы не думать о том, как счастьем зашлось сердце, когда она увидела его.

Это находилось вне всякой логики, это было необъяснимо, но обманывать себя, делая вид, будто этого нет, Нэла не могла.

Он был самым не посторонним для нее человеком на белом свете. Он мог быть для нее каким угодно, она как угодно могла к нему относиться — хотеть его, расставаться с ним, или, как сейчас, чувствовать гнев на него, — но он был самый родной ей человек, и сердце говорило ей об этом прежде, чем успевал что-либо сказать разум.

И что с этим делать? Нэла не знала.

— Горничную попросил — открыла, — ответил он.

Ну еще бы! Чертово его обаяние.

— Я не мог больше тебя не видеть, — сказал Антон.

— А в душ зачем полез? — не глядя на него, спросила Нэла.

— Сама же сказала — скотина. Такой и вид был. И как бы ты на меня, такого, смотрела?

— А тебе не все равно? — усмехнулась она.

— Если мне что не все равно, так только это.

Смотрит исподлобья. Глаза как синие ямы. Как он выбрался из этого города, из этой бессмыслицы и силы? Как все это живет в нем…

— Сейчас уйду, — сказал Антон. — Я не затем пришел, чтобы тебе опять навязаться.

— А зачем ты пришел? — чуть слышно проговорила Нэла.

— Люблю тебя. Видно, это у меня встроенная функция.

Она засмеялась и сразу же заплакала. Подошла к нему, обхватила за шею, прижалась щекой к его скуле. Плакала, чувствуя, как бьется, сбивается

пульс у него на виске. Потом уткнулась лбом в его плечо и зарыдала в голос.

— Милая моя, сердце ты мое. — Она макушкой слышала не слова его, а дыхание. — Не прощай — как такое простить? — вообще про меня можешь не думать, только не плачь…

— Как я могу про тебя не думать? — Нэла наконец оторвалась от его плеча, увидела его глаза в пелене слез. — Это надо голову с плеч снять, но и тогда не… не получится ничего-о-о…

И больше он ее не успокаивал, только вытирал пальцами ее нос, потому что слезы лились и оттуда тоже, если считать сопли слезами.

— Обо что ты подбородок расцарапал?

Когда все слезы из нее наконец вылились, она сразу же это заметила.

— Об твою заколку.

Антон провел ладонью по ее спутанным волосам.

Нэла заколола их машинально, выходя из дома на Соколе, чтобы ехать в аэропорт. Подумала, что в

Сибири ветер, и надо заколоть, чтобы из-под капюшона не выбивались. Мало помогло, кстати.

Она вынула заколку из волос, положила на обшарпанную тумбочку, села на край кровати. Антон сел на пол и положил голову ей на колени.

— Ничего ведь непонятно, Тоник, — сказала она.

— Что непонятно? — спросил он.

— Как нам жить.

— Нам?

Нэла почувствовала, что не только он замер, но и дыхание его замерло тоже.

— Не знаю… — проговорила она. — А ты?

— Я тоже ничего тебе определенного сейчас не скажу. — Антон говорил простые и в общем обыденные слова, но обыденности не было ни в голосе его, ни в том, как касалась ее коленей его щека. — Надо мать в Москву перевозить, разбираться, где ее оперировать. И вообще разбираться, — добавил он, помолчав.

— В чем?

— Ты же знаешь.

— Я для себя знаю…

— Ты для всех знаешь. — Антон поднял голову, снизу глянул ей в глаза. — Ты же камертон. Точная настройка.

— Какими ты терминами оперируешь! — улыбнулась она.

— Помнишь, как Бетховена ходили слушать?

Он тоже улыбнулся. Глаза от улыбки сверкнули, как от падающего из окна лунного света сверкали кристаллы Авроры.

— В Редуте?

— Ага.

Нэла вспомнила, как музыка звучала в светлом камерном зале, и, когда она поглядывала искоса на своего мужа, то видела в его глазах растерянность и силу в необъяснимом соединении, и это соединение говорило ей о жизни так же много, как музыка Бетховена. Какой драгоценный дар преподнесла им жизнь в самой юности! Как много жизни должно было пройти, чтобы они это поняли…

— Что делать, пока не знаю, — сказал Антон. — Но чего не делать — это, знаешь, обдумал. Пока о стенку головой бился, правильно ты догадалась.

— Не трудно было догадаться, — хмыкнула она.

— Все можно варьировать, — сказал Антон. — Но из чего-то можно только исходить.

— Думаешь, я знаю, из чего? — вздохнула Нэла.

— Конечно, знаешь, неоценимая.

Почему он назвал ее так — непонятно. Слово было такое странное, что казалось прилетевшим из другой какой-то жизни. Но когда Антон его произнес, оно стало таким естественным, будто он сделал его руками, которые умели все.

— Видно, такая у тебя встроенная функция, — добавил он.

2018 год, Москва